ОБЪЕКТИВНЫЕ ОЧЕРКИ

**А.**А. СЫРНЕВА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИЗ ЦИКЛА «МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ»

ОБЪЕКТИВНЫЕ ОЧЕРКИ

**А.**А. СЫРНЕВА

1

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

**(Рассказ М. М. Ч.)**

— Вы, батюшка, далеко ли едете, — до Москвы, что ли?

— Нет, матушка, только до Ушаков.

— А зачем вам в Ушаки, батюшка?

— Там побывать у одного человечка, по делам, матушка. А вы, если позволите спросить, куда изволите ехать?

— Я, батюшка, домой еду, на свой завод, где мой старик мастером служит. В Питер ездила к зятьку с дочкой погостить. А что за прелесть, я вам скажу, как они живут: истинно порадовалась. Он хорошее жалованье берет, сколько-то в месяц, — много что-то, уж не умею вам сказать в точности, извините. Богатый магазин, у хозяина-то. Даже есть золоченые стулья, сударь. Нынче в моду пошло золоченое. И точно, какое же сравнение? — золото, одно слово. Зато и цена, — тоже не умею вам сказать в точности, только дорого что-то. Вы не знаете ли?

— Нет, матушка, тоже не знаю: не случалось покупать. Полагаю, впрочем, что точно, цена большая.

— Но больше — орех. Тоже из простого дуба много; даже лаку нет, — не наводят. И это, я вам скажу, удивление: простой дуб дороже ореху стоит. Отчего это, батюшка, не знаете ли?

— Полагаю, оттого, матушка, что под орехом сосна или ель, только накладка хорошая, в листок бумаги, а дуб — цельный.

— Это точно, батюшка, — и дочка с зятьком так говорили. Как хорошо живут! Да как не получать хоро-

шее жалованье подмастерью у такого хозяина. А вы, значит, не по столярной части?

— Нет, матушка.

— По какой же? В услужении находитесь?

— Нет, матушка, я так занимаюсь, своим делом: торговым делом занимался, теперь пишу по чужим тоже делам.

— Это тоже хорошо, батюшка, у кого хорошая рука: по 15 копеек, даже до 20 — серебром — за один лист в Петербурге берут, — я видела одного, у зятька. У вас тоже хорошая рука?

— Посредственная, матушка, потому и живем посредственно.

— И семейство есть у вас, батюшка?

— Есть, матушка. У нас с женою всё сыновья.

— Это хорошо, батюшка, что сыновья. Какое сравнение против девочек. И у моих тоже, сыночек. Тоже, как бы и про вас сказать, если не в обиду будет, молодые люди.

— Помилуйте, матушка, какая же тут обида.

— Конечно, батюшка, молодость тоже от бога дается, на утешение человеку. И если молодые люди хорошо себя ведут, в этом им нет порока. И мои тоже, вот так. «Уж как я вам, — говорит зятек, — благодарен, матушка, за вашу дочку, и сказать нельзя». Потому и за мною ухаживал, как родной сын. Все удовольствия доставлял. Уж как приятно у вас в Питере пожить: столько всяких удовольствиев, что и рассказать нельзя. По улицам ходили, батюшка. Это самое главное удовольствие. Отличные у вас улицы, батюшка. Заметил зятек, что я люблю орехи щелкать, — да я, признаться, и сама ему намекнула стороною, — покупал: каждый вечер орехи, каждый вечер орехи. А самое главное, чего я в жизнь мою не могу забыть, как на острова поехали, — уж так я рада, что они меня свозили, потому что где бы мне такого удовольствия видеть. У зятька есть знакомый один, а у этого знакомого тоже знакомый, приказчик на перевозе. Потому лодку поверил им. Ялик, сударь, называется. Как расписана, ну, просто, прелесть: игрушечка, как есть. А у вас в Питере всех на таких возят, — экая приятность-то у вас в Питере! Вот мой зятек с знакомым своим сложились по четвертаку и взяли этот ялик на весь вечер. Они в веслах-то оба умеют сидеть. Нас трое: я, зятек, да дочка; и внучек-то

с нами. Их двое: знакомый-то наш с женою. Поехали. Так это приятно. Только погода пасмурная была, это немножко портило. Внучек-то было и расплачься, на лодке-то; знаете, мал еще, шестой годочек, а дождичек- то накрапывает, — будто больше, так вам сказать, моросит, — ну, и на воде-то холодновато.

— Да это как давно было, матушка?

— А как вам это сказать? Нынче что у нас, пятница, что ли?

— Четверг, матушка.

— А это две недели назад, в среду, — значит, вчерашний день ровно две недели было.

— Значит, еще начало мая было, матушка. Точно, в это время у нас в Петербурге холодновато на воде вечером. А если, как вы говорите, дождичек был, то и вовсе холодновато.

— Холодновато, батюшка. Только дочка-то у меня умница: точно она знала, что такой случай будет, шаль взяла шерстяную для Фединьки-то и капотик. Вот и пригодилось.

— Это точно, матушка, видно, что ваша дочка умная женщина.

— И умница, и веселая, и добрая. И к мужу, и к ребенку, — к внучку-то, Фединьке-то, — радельная. Вот как, знаете, она его одела в капотик-то и шалью-то завернула, ребенок-то и успокоился: ему тепло. Он и уснул. И дождичек-то на него не моросит, потому что дочка села над ним с той стороны, откуда направленье дождичку-то, ну, и прикрыла его от дождичку-то. Так хорошо уснул наш Фединька, прелесть. Вот мы так всё и плыли. Ну, и дождичек-то перестал. Какая это приятность была! Так все и ехали. Уж совсем смерклось. А покуда можно было видеть, смотрели. Берега, батюшка. Острова. В иных местах пусто; в иных дачи стоят по берегу, — прекрасные такие, точно игрушечки. Любовались ими. Только, как смерклось-то, вдруг, батюшка, опять дождик, да сильный. И это, батюшка, значит, не то что пора было темноте быть, а стемнело, как бы вам сказать не ошибиться, часу в седьмом. Зятек-то на часы посмотрел: «Как это, говорит, так темно стало, рано бы еще», — по времени-то, то есть, рано, — «еще семи нет», — говорит. Так, «семи нет», сказал, — в седьмом часу, значит. А до того места, куда мы ехали чай-то пить, еще то ли верста, то ли три версты, не умею

вам сказать в точности. Видим, не доедем, — как быть? — А бог-то и послал защиту свою: видим — мостик; мы, как подъехали под мостик-то, и стали, чтобы укрыться от дождя. И только знакомый-то говорит: «а смотри, говорит, чуть ли подле этого мостика будки нет». — «Точно, — говорит зятек-то, — точно, что есть будка». — Чего же, говорит, зевать-то? И поплыли мы к будке. Будочник сначала говорит: «зачем я вас пущу?» — Мы говорим: «что же, служивый, и тебе выгода будет, ведь мы не задаром же к тебе напрашиваемся». Гривенник ему дали. С благодарностью пустил. Сам Фединьку на руках понес в будку-то, — мать-то, знаете, устала, все к нему нагибалась. Вот мы так и напились чайку в будке. Так тепло, хорошо. Стали собираться назад. И наш служивый — будочник-то — такой добрый. Конечно, как человек небогатый, ему гривенник-то составляет счет. Мы его спрашивали, какое ваше жалованье, и все. Он говорит: «жалованье наше небольшое, и содержанье умеренное; а дохода зимою на нашем месте нет никакого, а летом есть доход, хоть небольшой». — «Какой же?» — спрашиваем. — «А вот, — говорит, — главный наш доход, что у меня, теперь, спички всегда есть. Идет барин, или тоже и простой человек, хочет закурить папироску или сигарку, а сам, видит, забыл взять спички. Вот он видит будку и подойдет: служивый, говорит, одолжите-ко вот закурить. И дашь ему. Он копейку, две даст. Иной барин и пятак даст. Небольшой, — говорит, — доход, а все в лето-то, — говорит, — может быть целковых до полутора набежит». — Значит, батюшка, как его с будкою-то на наше счастье бог послал, так и нас на его счастье бог послал. И мы-то отогрелись и чайку в тепле напились, и ему хорошо: гривенник в кармане. И тоже, чайком и его угостили. Назад-то стали собираться, мужчины выпили по стаканчику — полштофчик был взят — и мне дали: «нельзя, — говорит зятек, — для тепла надобно, матушка». Мое дело старушье, пью, батюшка, когда случится; рюмку, даже две могу. Ну, батюшка, и выпила с полстаканчика, или, так сказать, поменьше несколько, с третью долю будет. Так и поехали. И приехали. Лодку отдали на пристани, — на перевозе, где брали. Воротились. И такая, батюшка, была приятная эта поездка, — я три недели у зятька с дочкою гостила, это самое приятное было. Так хорошо это было, на острова-то ездили. Ну,

и все время очень приятно провела, все в удовольствиях. Да что, одно слово: Питер. Сами в нем живете, так, значит, знаете.

— Это точно, ваша правда, что в Петербурге много удовольствий. Так вы теперь домой изволите ехать, на завод?

— Да, батюшка, к старику своему, на завод. И на заводе у нас хорошо. Конечно, таких удовольствиев нельзя требовать, чтобы на заводе были, как у вас в Питере, — а тоже хорошо и у нас.

Старушка стала рассказывать, как хорошо у них на заводе.

Ее рассказом о петербургских ее удовольствиях напомнился мне другой случай.

2

БАЛ

**(Рассказ М. М. Ч.)**

Зиму 1847‒1848 года я, студент 2-го курса, прожил на большой квартире, разобранной покомнатно компанией) студентов и чиновников, из которых двое были мне знакомы: один — студент, другой — чиновник. Они-то и поместили меня в одну из комнат, для дополнения комплекта. Однажды, — около святок, — оба эти мои знакомые сказали мне, что им приятно было бы, если б и я пошел с ними посидеть вечер в семействе чиновников, у которых нанимал комнату в прошлую зиму мой знакомый чиновник, нынешний мой сожитель. Люди простые, и будут довольны: значит, прежний жилец расположен к их семейству, когда знакомит с ними своих знакомых. У них нынешний день — какой-то семейный праздник, самый большой, и они всегда устраивают в этот день маленький бал, какой приходится по их небогатым средствам, — даже и не бал, — какой бал, помилуйте! — маленький вечер. Студент-знакомый уже был на этом вечере в прошлом году, и было, точно, очень весело. Потому: «идите с нами», «идите с нами», и кончено. Я не предвидел себе возможности веселья ни на каком ни бале, хоть бы маленьком, ни вечере, хоть бы малейшем, — потому что я не умел танцевать, не умел держать себя в обществе, хоть бы и самом немуд-

рящем. Что я там буду делать? — Скучать, сидя молча в углу. Однако ж пошел.

Мое предвиденье совершенно исполнилось. Мать семейства, которой представил меня знакомый чиновник, ее бывший жилец, встретила меня ласково. После того, через несколько минут, я увидел приют спасения себе от стояния одиноким у какого-то косяка, от которого было уж и отчаялся отойти когда-нибудь: в другом углу комнаты сидел мой знакомый чиновник с хозяйкою и еще какою-то пожилою дамою. Собрав геройство своего духа, я счастливо переправился через комнату, подсел к ним — и просидел до конца вечера. От хозяйки и другой дамы я слышал вещи хоть и вовсе не занимательные — житейскую мелочь из их быта, рассказываемую моему знакомому чиновнику, — но все же новые для меня; кое-как, хоть с большою скукою, еще можно было слушать то, что говорили эти дамы. Но они, на мою беду, говорили мало, — гораздо больше говорил мой знакомый, рассказывая им те же мелочи из своей службы и жизни, но мелочи, которые, конечно, все уж три-четыре раза были слышаны мною, при нашем сожительстве с ним. Мне было очень, очень скучно. Но я сидел, рад тому, что уселся. Подали чай. Через много часов — подали по рюмке хереса или мадеры на подносе, — это был тост, взамен шампанского, — потом гости закусили ветчины, сыру, и пошли по домам часа в два, в три, с скромного вечера небогатых, очень небогатых людей.

Значит, не всем было так скучно, как мне, если разошлись так поздно.

Конечно, нет. Танцевали. Больше — кадрили; — было до восьми пар: три или четыре дочери хозяйки, всё молодые женщины, тоже чиновницы, как и мать, — тоже пришедшие пешочком, как и мы, но домой уже поехавшие на извозчиках, потому что устали, танцевавши, — еще три-четыре молодые женщины или девицы, прибывшие и отбывшие с мужьями или братьями таким же порядком, как зятья и дочери хозяйки: на вечер — шли; с вечера — поехали, потому что устали, танцевавши. Итак, больше танцевали всё кадрили, потому что мало кто из дам умел хоть как-нибудь танцевать что-нибудь, кроме кадрили. Да и кавалеры тоже. Были два-три шелковые платья, — остальные были кисейные и даже ситцевые. Горело четыре стеариновые свечи. Один из

зятьев играл на скрипке, — вероятно, очень плохонькой (я этого не умею различать), вероятно, и играл-то плоховато (я и этого тоже не умею различать); но ни скрипка, ни игра на ней не могли быть иные, как очень плохие, судя по виду играющего. Кавалерами были мужья и братья, — следовательно, во время танцев не могло, вообще говоря, происходить никаких особенно увлекательных разговоров. Из всех кавалеров один только и был посторонний человек — мой знакомый студент; но и он был человек очень скромный, солидный, ни остроумен, ни любезен, — впрочем, говорил комплименты, какие требуются приличием от постороннего кавалера, — умел танцевать польку-мазурку и вальс, — галопировать не умел; но галопировать, должно быть, и никто не умел, — потому все-таки был самым занимательным из кавалеров. — Когда танцевали кадриль, одной паре приходилось занимать место подле моего стула, — я полагаю, что поочередно перебывали тут все дамы и кавалеры. Их руки были под носом у меня, их лица — в полутора-аршине от моих глаз; вежливость требовала сидеть не спиною же к ним, — и я видел их лица: больше — изнуренные, особенно у кавалеров: много переписки, черновых, беловых, отпусков, копий, протоколов, предписаний, рапортов, отношений, — всего, всего много, очень много; — да и у дам: шитье, шитье, шитье, — всякое: и свое, и чужое, и простое, и с вышиваньем; и дела по хозяйству. Утомительно. Но все-таки некоторые лица были свежие, здоровые; особенно у дам. Неизвестно, отважился ли бы я смотреть на плечи дам, если бы плечи были в обыкновенном бальном виде; но у дам не было для балов особых платьев с открытыми лифами; — зато, — если нельзя было бы мне засматриваться на их плечи, когда [б] я нашел в себе такую отвагу, то мог я сколько угодно рассматривать их руки, — не ту часть рук, которая бывает открыта на обыкновенных балах, — от кисти до плеча, — нет, рукава были длинные, — но та часть руки, на которой бывают перчатки, — та часть была открыта почти у всех дам. Я, может быть, и любовался бы на их руки, если б они были менее красноваты и грубы. — Руки кавалеров также много выиграли бы, если бы были менее желты, сухи, менее похожи на восковые. — Впрочем, на некоторых руках были и перчатки, — пары три перчаток в восьми парах танцующих. Одна из этих трех пар

перчаток принадлежала моему сожителю-студенту; другая — даме, которая была царицею бала,— младшей хозяйке дома, жене сына хозяйки. Она была царица бала уж и потому, что умела вальсировать, умела танцевать польку-мазурку.

Так шел вечер, и танцевали очень много, — кадрилей двенадцать, если не больше, — и говорили во время танцев, как следует; со всеми кавалерами все дамы говорили о всем том, о чем говорили мои не танцующие разговаривавшие — старшая хозяйка, ее пожилая приятельница и чиновник, мой сожитель: о службе, о хозяйстве, о здоровье, — но больше о службе и хозяйстве, о здоровье меньше, потому что танцующие были люди еще молодые, им еще нечего было много расспрашивать или сообщать о состоянии здоровья, — вообще, оно было хорошо. А с моим сожителем-студентом дамы говорили и о вещах более воздушных, поэтичных; одной даме — он даже прочел стихотворение Пушкина, которое тогда очень нравилось ему:

Фонтан любви, фонтан живой,

Принес я в дар тебе две розы.

Люблю немолчный говор твой

И поэтические слезы, —

только, потому что все стихотворение состоит из этих четырех строк. Но он, само собою, прочел его не для применения к даме, которой читал, — это уж было бы слишком, — нет, он спросил ее, какой поэт лучше всех нравится ей; она сказала: «Крылов» и прочла несколько стихов из басни «Мартышка и ее очки», — пожалела, что не помнит всей басни, — он сказал, что тоже очень любит Крылова, но еще больше любит Пушкина. «Ах, прочтите что-нибудь из Пушкина, я слышала, что это очень хороший поэт», — он прочел с десяток стихов, начинающихся так:

На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн, —

то есть Петр Великий, — стоял и размышлял, что хорошо будет выстроить на реке Неве город Петербург. Даме понравились эти стихи, и она попросила прочесть из Пушкина еще что-нибудь, — вот мой приятель и прочел «Фонтан любви, фонтан

живой»; — и эти стихи понравились даме, — она просила прочесть еще что-нибудь из Пушкина, — но мой приятель больше уже не помнил

из Пушкина и, извинившись, что ничего не помнит, а то прочел бы с удовольствием, сказал, что он тоже очень любит Лермонтова, и прочел:

Велик, богат аул Джемат;

Он никому не платит дани;

Его стена — ручной булат,

Его мечеть — на поле брани; —

остановившись на «на поле брани», он стал рассказывать даме о том, как он учится говорить по-французски, — он тогда учился говорить по-французски. Он был — интереснейшим из всех кавалеров, львом того вечера. Другие кавалеры не заносились в такие необычайности, как «аул Джемат» и «поэтические слезы».

Такие были разговоры кавалеров с дамами, и такие были руки у дам, — и рукава, и лифы платьев шли к разговорам их кавалеров и к их собственным рукам, — и к четырем стеариновым свечам, и к обоям зала, и к меблировке зала, и к рюмке хереса вместо шампанского для тоста, — и шли ко всему этому и черты лиц всех дам, — кроме одной: черты некрасивые, которые, может быть, и показались бы хоть не совсем дурны при другом освещении, при другом наряде, да при долгой другой заботе о своей наружности, — но и тогда показались бы не больше, как не совсем дурны: всё были лица того русского губастого, широконосого вида, который дается лицу от пищи, похожей на коровью и овечью: тоже вроде сена, азотистых соединений мало, потому количество массы объемистое, и жевать надобно много, черты лица и развиваются в широкий размер; некрасив вид этого русского вида, особенно когда он развивается под петербургским климатом да еще соединяется с чухонским оттенком, впрочем, тоже чисто русским по виду; некрасивы были лица дам; не безобразны, — нет, нет, потому что не обезображены ни пороком, ни оспою, ни каким-нибудь кривоносием или бородавкою с грецкий орех, — но некрасивы, и без выражения, — не идиотские, нет, нет, не глупые, — но без выражения, вялые, тусклые. Все лица были такие, совершенно подходившие к обстановке бала, и наряду дам, и разговору.

Все, кроме одного, — кроме лица царицы бала, младшей хозяйки. Эта молодая женщина была хороша собою. Была ли она красавица, я не умею сказать: перед тем временем, и после того времени, очень долго я не видел женщин, кроме старушки хозяйки нашей квар-

тиры, да двух служанок, — из них одна была тоже пожилая женщина, другая, молодая, носила черную скуфейку, потому что остриглась нагладко, чтобы лечить голову от каких-то лишаев, — стало быть, где ж у меня была возможность судить о степени красоты этой царицы бала? — Очень может быть, что она была только недурна собою, — но мне она показалась красавицею, — и, вероятно, была. Но это все равно, красавица или просто хорошенькая по чертам лица, — она имела такое энергическое выражение в лице, столько жизни в черных глазах, так гордо держала головку, и черная коса ее была так густа, — и ручка, — в палевой перчатке, — такая маленькая, — ножка, не знаю, я не взглянул, — ведь я ж не заглядывался на хорошенькую царицу бала, я только видел лицо, стан, руки, которых не мог же не видеть, когда она два раза занимала в кадрили место перед моим носом, — да и лицо ее видел я не так хорошо и близко, как лица других дам, поочередно садившихся на это место: когда подошла и села она, то мне показалось, — чего не казалось при сиденье тут других дам: неловко, неделикатно сидеть к ней и к ее кавалеру так близко, что каждое слово их слышно мне, — как будто показалось мне, что между нею и ее кавалером могут быть слова, которые не годится слышать всякому постороннему, — и я отодвинул свой стул подальше, — потеснил своего сожителя-чиновника; когда кадриль кончилась, опять дал простор сожителю, подвинулся на прежнее место; и опять стеснил сожителя, когда через две, три кадрили с несомненными разговорами опять села на это место младшая хозяйка.

Но напрасно стеснял. Когда мы шли домой, мои сожители толковали о вечере. — «Ты, чай, много любезничал», — сказал чиновник студенту. — «Да; много; было очень весело, и я был в духе», — сказал лев вечера. — «И с хозяйскою снохой?» — «Отчасти — и с ней; но с ней меньше, а с другими больше». — «А что ж с нею? Ведь как хороша!» — «Хороша. Только — она гордая, с нею не чувствуешь себя так свободно, как с другими. Оттого — с другими мысли живее, и слова эффектнее». Итак, царица бала, вероятно, даже не узнала от моего сожителя-студента, что он учится говорить по-французски, и наверное не услышала от него, как велик аул Джемат и какими намерениями руководился Петр Великий, основывая Петербург.

Не услышала! — Что же, если не услышала этого от него, могла она услышить[[1]](#endnote-1) от других кавалеров? — А я было думал, что хоть от него она услышит, что она хороша собою, что в нее можно влюбиться, что-нибудь хоть такое. Как же? — Ведь вторую из двух кадрилей, которые сидела она подле меня, она танцевала с моим сожителем, львом бала, — и хоть я сидел отодвинувшись, но все же слышал, что она сказала ему, что ей очень весел этот вечер, — что она весь год помнила прошлогодний вечер в этот день и что как жаль, что до этого вечера в следующем году остается с нынешнего дня еще целый год, — и глазки ее горели, и щечки горели, и она дышала неровно, — и я подумал, что эти слова сколько-нибудь относятся к тому, кому говорятся, — и еще пожалел было, что ей, бедненькой, не привелось хоть так немножечко, как этого моего сожителя, полюбить кого-нибудь хоть немножко покрасивее его лицом, поизящнее его манерами и разговорами, умеющего танцевать получше, носящего перчатки почище, — и видеться с человеком, вид которого ей несколько мил, хоть несколько почаще, чем раз в год...

А не было даже и этого маленького счастья, такого скудного и плохенького, которое мне казалось жалким— что ж это за холодная, темная пустыня, по которой жизнь ведет эту пылкую, хорошенькую женщину, эту миленькую женщину, которой так шло бы хоть немножко видеть счастье!

Вы не подумайте, впрочем, что в этих моих тогдашних размышлениях участвовала хоть сколько-нибудь моя собственная личность: я был тогда не личность, а óрган абстрактного мышления мирового духа (Weltgeist). Я не имел личных чувств: я только мыслил о том, какие чувства удобны для других людей, — сам я был «выше мира и страстей».

3

ПОЕЗДКА С ВЕЧЕРА

**(Рассказ акушерки)**

Расскажу вам еще один случай. Ко мне приезжает молодая дама или девица, — почему я знаю? Конечно, скорее дама, — просить меня быть ее акушеркою. Я ска-

зала ей, что она напрасно выезжала, что я ей советую уже не ездить. — «Да, — сказала она, — я знаю, что время близко. Но что ж делать? Я должна буду приехать к вам, когда оно будет уже совершенно близко. Мое семейство не должно знать об этом. Я попрошу вас иметь для меня готовую комнату». — Хорошо, — сказала я.

Итак, это девица. — Из ваших слов я вижу, — сказала я, — что вам не с кем советоваться, кроме меня. Время уже очень близко, — ближе, чем вы, может быть, думаете. Может быть, завтра, послезавтра; может быть, через несколько часов. — «Я это знаю. Я читала курс акушерства и еще не приехала бы к вам, если бы мне не казалось, что уже очень близко».

— Вы читали курс акушерства — и так шнуруетесь? — «Что ж делать, я знаю, что это вредно. Но я не могу не шнуроваться туго. О, какое мученье от этого шнурованья. Зато даже моя горничная не знает. Я сплю, не расшнуровываясь, чтобы ей поутру не зашнуровывать меня».

— Когда же вы переселитесь ко мне? — «Я не переселюсь к вам. Я не могу этого сделать. А только приеду к вам. Когда, я не знаю. И потом уеду». — Вы понимаете, что вы говорите? — «Понимаю».

— Едва ли понимаете, — сказала я. — «Будто я не видела, какие тут нужны предосторожности, после этого. Ведь у меня ж есть замужние родственницы и знакомые дамы. Я видела, что делается в первые дни после этого, — знаю, когда и лежат, то эти дни очень опасны. Но я не могу».

— Я не могу согласиться на такие условия, — сказала я. — «Я не бедна», — сказала она. — Я вижу по платью, что вы не бедна. И вы по моей квартире видите, что я не бедна. Я живу своим ремеслом; вы, вероятно, поместьем, — это почетнее; но мое ремесло честное. Я не убийца. — (Я обиделась; будто такие вещи мы, акушерки, делаем из-за денег! — Мы получаем за них деньги, это правда; но мы делаем их не из-за денег. Поверьте). — «Вы боитесь ответственности», — сказала она. — Ответственности я не боюсь. Кто может доказать, что это <вы> были у меня? Вы, если не умрете, так уж наверное будете молчать. Но я сама не хочу быть вашею убийцею. — «Я не знаю, к кому же мне обратиться. Скажите». — На таких условиях — я не могу рекомендовать вас никому

и вам никого из акушерок. Если вы согласны переехать дня на четыре, я дам вам десять рекомендаций. — «Боже мой, что ж со мной будет? Я уж от вас третьей слышу это». — И замолчала. Сидит, молчит.

Когда мы замолчали обе, — ну, да что вам говорить? — мне стало жалко <ее>. — Я подняла вуаль, поцеловала ее, говорю: — Ну, приезжайте ко мне. — (Она не подымала вуаля, — покраснела. Недурна собою. Лет двадцати). — Полноте, не стыдитесь. А что я открыла вуаль без вашего позволения, так это ничего: приходится быть короткими знакомыми. (Знаете, обратила в шутку.) — Обрадовалась моя гостья. Проводила я ее, — до завтра, послезавтра.

На третий день собиралась я пить чай с детьми вечером, — был осьмой час, — звонок; — думаю: уж не она ли? — она. Служанка провела ее в мою спальную, — чем же, вы думаете, она встретила меня, когда я входила? — «Не знаю, радоваться ли мне, или нет, — нет, радуюсь: когда ехала к вам, сани у извозчика опрокинулись, я упала. Ведь от этого, будет скорее?» — Конечно, только это страшная беда. — «Да, и какая ужасная боль! Но для меня тем лучше! Только скорее, только скорее, — вот что для меня важно. Но я не за себя не знаю, радоваться ли, — жив ли малютка? Не повредило ли это ему?» — Жив. Ничего. — «Как же это хорошо было, что извозчик вывалил!» — Нашла, чему радоваться. — Удивительная сила воли была в этой девушке. После того как малютка родился, — а ее страдания были большие, все было хорошо, но боли очень сильны, особенно после этого падения из саней, — ведь это страшно подумать, — да, так я говорю: после того как малютка родился, она лежала только час, и говорит: — «Помогите встать, я иду». Я кое-как уговорила ее полежать еще с полчаса, — таки встала, и ушла. Какое было на ней лицо, когда она шла, если б вы видели. — «Ничего, — говорит, — дорогою оправлюсь». — Оправиться, дорогою! Когда каждое самое легкое движение саней должно производить такую боль! — Что вы так спешите? — «Вот что: мы живем двое, я и брат. У брата ныне был обед. Теперь сидят, играют в карты. Будут закусывать. За закускою я опять должна быть, — и буду. Я уходила от их карт в свою комнату, сидела и читала. — Надобно же мне отдохнуть дома от обратной поездки. Ах, эта поездка, должно быть, будет ужасна!» —

Да. — «Что делать! Выдержу как-нибудь. Нарумянюсь. Пожалуйста, заботьтесь о ней (родилась дочь). — Буду, не беспокойтесь. Ребенок здоров, ничего. — «Пожалуйста, заботьтесь о ней. Я заеду, как оправлюсь». — Я усадила ее в карету, — я посылала взять: в карете все-таки легче.

Что ж вы думаете? — Ведь она действительно выходила к закуске. И хозяйничала, разговаривала с гостями. Никто не заметил, что она страдает.

— И осталась здорова?

— Здорова. Ужасно, что она должна была перенести. И все перенесла.

4

СТАРИЧОК

**(Рассказ г. М\*\*\*)**

...Тогда одною из моих обязанностей было осматривать проходящие партии ссыльных. Осматриваю я одну партию, — всякие лица: и добрые, и злые, — и честные, и мошеннические, — как обыкновенно. — Против одного имени в списке выставлено: отцеубийца. Ну, это, знаете, не в каждой партии бывает. Вызываю, — молодой мужик, высокого роста, стройный, доброе, благородное лицо. — «Как это ты, батюшка? Не с твоим бы лицом это делать». — «Точно, что не с моим бы; а так довелось». — «Как же довелось?» — «Мне в этом нет стыда рассказывать. Горе только. Извольте, расскажу».

«Наше село в 200 верстах от Москвы. Отец мой был мужик богатый. Матери не было. Я у него один. Первый жених в селе. Хорошая мать и потому на меня льстилась для дочери, что свекрови нет. Да, а при свекрови-то, авось, этого бы не было. Ну, да кто мог знать? — Для всех был завидный жених.

Стал отец выбирать мне невесту. У нас это вышло из обыкновения, чтобы женить, не спрашивавши. Наше село грамотное. (И точно, мужик говорил хорошим языком, будто москвич). «Выбрал из богатых», — говорит мне. А мне уж другая девушка нравилась, из посредственных по состоянию; оттого я все и опасался сказать ему. Ну, а когда уж пришлось иметь разговор, сказал: у меня, батюшка, не та было-была на примете, а вот

такая-то. — Ну, говорит, посмотрю, — а впрочем, едва ли соглашусь, потому что ты говоришь — не из богатых. Он на небогатых-то не обращал внимания, а село-то большое, — очень большое; он почти что и не знал эту девушку-то. Посмотрел — хорошо, говорит, женись, я согласен. — Точно, она очень хороша собою была, Полинька. — Повенчались. — Что ж вы думаете? Стал отец гнать и меня, и ее. Ее меньше, а мне житья не стало. — «Что это такое, из-за чего у вас такая вражда с отцом? — говорит Полинька мне. — Прежде ведь он был не злодей тебе». — Молодая женщина, хорошая, как же она могла бы догадаться? — Да и мне в голову не приходит. Помилуйте, как же это вздумать. — «Взбесился старик, — я говорю, — с ума сошел». — Только, видим, вся его злоба на меня. И что на нее нападает, только все из-за меня же. И стал уж прямо говорить: «не могу я этого Тимошку (меня) равнодушно видеть. Пусть он с глаз моих убирается, духу его не могу выносить». И мне то же говорит, и все от него то же самое слышат, и Полинька. Давно бы я и ушел в Москву на работу, как он посылал, да очень мы с нею любили друг друга. Не хотелось расставаться. Только, что же? — и по своей любви стали мы чувствовать, что надо мне уйти, — и я, знаете, и она, каждый по-своему это чувствует. Ей меня жалко, что бьет он меня немилосердно, как скотину, чем попало: палкой, так палкой, — а то и топором замахивается. Можно сказать, не сходило никогда с меня увечье: избит весь. Ну, у ней все сердце переболело: «уйди ты, говорит, Тимоша, хоть немножко отдохни на воле-то. Уйди на год. У него, может, и пройдет в это время злоба на тебя. Не все же он зверь будет». А мне на нее жалко, — его сердце с меня начинается, — рассвирепеет, бивши меня и на нее потом бросится, — «это, говорит, оттого что сын озлобил». Думаю: когда меня не будет у него на глазах, некому будет приводить его в злобу, надо полагать — будет человеком, не станет ее бить, потому что сам говорит: «против нее — я не имею злобы, а тебя мои глаза не могут видеть». Знаете, она-то меня для меня упрашивает, а я-то из жалости к ней тоже думаю, что ей доставлю спокойствие, — ну, и решился. «Хорошо, батюшка, говорю, иду в Москву». И ушел. На год ушел. Через год думал воротиться.

Ушел я после нашего венчанья так через полгода.

Живу в Москве полгода, и больше, ничего не знаю, из нашего села мало в Москву ходят, потому что у самих и земли много, и промышленность есть. Потому долго и слухов никаких нет мне. Только и получил же я слухи. Двое наших молодцов пришли в Москву. И рассказывают, — знаете, с осторожностью, чтобы сделать мне приготовление, не вдруг, потому что тоже люди неглупые и знают, что мы очень любили друг друга. — «Больна, говорят, твоя Пелагея Андреевна». — Как больна? — «Очень, говорят, больна». Ну, и понемногу подошли: «Что, — говорят, — брат, скончалась». — Ну, заревел я, как с ума сошел. Ну, оправился, стал расспрашивать в подробности. Они, знаете, тоже с осторожностью, рассказывают: старик забил, в смерть забил. — Ну, и из-за чего, тут понятно мне стало. Сначала, как я ушел, он с ласкою подъезжать стал, — она ужаснулась, когда поняла, чтó он говорит. Ну, тогда он думал побоями принудить. И бил, покуда убил. Ну, и выслушавши это, я имел такой дух, что не обнаружил им, своим-то молодцам, какая мысль пришла мне в голову. Никакого вида не подал им, кроме того, что очень убиваюсь по жене. Не было им никакого подозрения.

Москва велика. Работа у меня с ними не одна была. Раза два сходился я с ними еще. А потом что я с ними не встречался, так они обо мне и думать позабыли. Что за диво, если в Москве долго своих не встречаешь. А мне то и надо было. Недели через полторы купил я ружье и пошел домой. Стрелять-то умел, надеялся на себя. День в траве, в кустах прячусь, — лето было, — ночь иду. Никто не видал. Так и к своему селу пришел. Тоже ночью пришел. Пробрался задами к своей избе. Ходил кругом, смотрел в окна, ничего нельзя сделать: спит на полатях. Перед рассветом ушел в конопли, пролежал день. Ночью пошел опять. На эту ночь вышла удача. Вижу, старик растянулся на лавке, спит. А в окно-то месяц светит; так хорошо его осветил. Я приложился сквозь окно в висок ему и, должно полагать, прямо как раз: едва пошелохнулся. Посмотрел я, уж не промах ли, что даже хрипоты не было. Нет, ловко пришлось. Ну, я пошел. Ружье в пруд бросил, как проходил. Думал, буду чист. Ан нет, поймали».

— Врет он, ваше высокоблагородие, не так дело было, — сказал другой ссыльный, выступая вперед.

— Как же в исправду-то было? — спросил я, пере-

водя глаза на этого ссыльного и потом опять на отцеубийцу, так что вопрос больше относился опять к нему. Но он только крякнул бодрым голосом и молчал.

— Мы с Тимофей Петровичем в одном остроге сидели, я попреже его попал, так это мне тоже известно. Не поймали его, ваше высокоблагородие. Он в Москву ушел, и никто его на дороге не видал, и никакого подозрения не могло быть, никому и в мысль не приходило, чтоб он из Москвы отлучался. Его дело было чистое. Да грех случился. Мужичка поклепали в убийстве-то. Его отец тот вечер в кабаке сидел, и подерись они с этим мужичком. И давно у них смертная вражда была; всему селу известна. И не один раз они друг на дружку угрозы делали: «убью, говорит, тебя». При этакой вражде, да в тот вечер драка-то случись между ними. Тоже с угрозами; мужичок ему грозил. Явное подозрение на мужичка, ваше высокоблагородие. По следствию и вовсе стало, будто иначе быть не могло, как то, что мужичково дело. Как их розняли-то-с, его-то отец совсем уж пьяный был, домой пошел, дрыхнуть прямо повалился, — оттого и на лавке, что пьяный. А мужичок-то еще вполпьяна был, остался в кабаке, пил еще и все похвалялся: «убью, говорит, я его». Пошел из кабака, — ну, примерно сказать, хошь в десятом часу ночи, а домой пришел на рассвете. — Где ночь пробыл? не может, сударь, отчету дать: «не помню, говорит, где повалился я, где встал; ничего, говорит, не помню, как из кабака вышел, как домой пришел». Как же, ваше высокоблагородие, не виноват? А ружье-то у мужичка тоже было, пуля входит. Чего же тут? Явно дело: просидел в поле, покуда в избах уснули, вошел в свою избу, когда уж все спали, взял ружье, застрелил, вычистил ружье, поставил на место, покуда еще не просыпались, да и ушел опять до утра, что, дескать, я в избе ночью не был, ружья не мог иметь. Всякий так по совести рассудит. Так и говорили все: не может быть оправдания. И присудили: он убил. — Вот, как этот-то слух дошел до Тимофея Петровича в Москву, он пришел в часть и объявил себя. Вот как было дело. Ну, мужичка высвободили.

— Что, не так было дело, Тимофей Петрович? — спросил я.

— Что же, сударь, не я один, — многие так-то себя объявляют — всякий объявит. Тут ничего такого нет.

5

ЗИНАИДА СЕМЕНОВНА

**(Рассказ В. М. Ч.)**

Действие происходит в большом провинциальном городе,

очень знаменитом в летописях отечественной истории.

Был бал в Дворянском собрании. В той губернии, вероятно, и тогда было много хорошеньких между помещичьими дочками, — когда я приезжала туда, я видела много очень красивых лиц. Но блистала на этом бале Зинаида Семеновна Березинская. Она была, и точно, очень недурна, но важнее было то, что она была одета роскошнее всех и держала себя герцогинею. — На бале не было бы кавалера, достойного ее, если бы не приехал в город, перед вечером в тот день, офицер из гвардейской кавалерии, — лейб-гусар, конногвардеец, не знаю хорошенько. Он был в отпуску, — ездил на год в поместье, чтобы несколько поправить свои дела: у него было много долгов. Но поездка не удалась: вместо своего поместья он попал в губернский город, — там, против ожидания, нашел общество, почти такое же прекрасное, как в Петербурге, — были цыгане, даже лучше петербургских, — была большая игра, — его обобрали до ниточки, как не обирали и в Петербурге, — его село было назначено к продаже, — что ж ему было оставаться в провинции? — он поехал назад в Петербург. На душе у него было невесело, — чем теперь он будет жить? — Но все-таки, когда он, остановившись переночевать в том городе, где блистала Зинаида Семеновна, услышал, что ныне в Дворянском собрании бал, он отправился на бал. Как явился, помрачил туземных кавалеров. Правда, в той губернии стояли два уланские полка, — офицеры, конечно, тоже были прекрасные кавалеры, однако какое же сравнение с гвардейским кавалеристом? — Но он не был гордый, познакомился с ними. Стал расспрашивать о девицах, которые были заметнее других, и особенно полюбопытствовал о Зинаиде Семеновне, — да и нельзя было не полюбопытствовать.о ней больше всех: она была в тот вечер очень эффектна.

— Это Березинская, — говорят ему. — Березинские — первые наши аристократы. Они живут совершенно по-

вельможески, — у них 2500 душ, она — одна у них, наследница всего, — первая невеста у нас.

Он к ней. Сначала так, полюбезничать, не больше, — потому что ведь он завтра же поутру уезжает; — а она, как увидела мундир его, и растаяла: в ту зиму у них не было еще ни одного гвардейца, а это даже не простой гвардеец — гвардейский кавалерист; и не отходит от нее, и ни на кого, кроме нее, не обращает никакого внимания. Как же ей не очароваться? Он, увидевши, что она готова влюбиться в него, стал объясняться в любви; — и какой он показался ей красавец! — никогда не видала таких. — «Неужели в самом деле вы так полюбили меня?» — Он говорит: «Как же», — совершенно так полюбил, как сказывал ей, — «если я не найду в вас ответа на мою страсть, она убьет меня». — «Ах, это жалко, — говорит Зинаида Семеновна, — надобно сказать маменьке». — «Вон оно, как идет! — думает он, — какой счастливец-то я! Я так себе говорил, а она, моя добренькая, уж и готова пособить обедневшему человеку». — «Где же, говорит, ваша маменька?» — «Вот эта дама там сидит, это моя маменька». — «Так ведите меня к ней», — Дочка подвела, отрекомендовала, — он и перед маменькою также объяснился, что страстно влюбился в ее дочку, — маменька такая же умная, как и дочка, хоть постарше дочки; тоже сейчас растаяла от мундира; — он в полчаса успел рассказать ей все: как он служит в Петербурге, — конечно, отлично, — какие в Петербурге веселости в высшем обществе, — удивительные, конечно, — это маменька и сама знала, — она, может быть, и сама живала в Петербурге; — как он там принят в самом аристократическом кругу, — конечно, превосходно, как свой, это и по мундиру видно, — какие у него поместья, которые вот он ездил осмотреть, — конечно, очень богатые, — и как он влюблен в Зинаиду Семеновну, — все успел рассказать в полчаса и сделал предложение; маменька в восторге, — говорит: «пойдемте к мужу»; — повела к мужу; муж сидит за картами. — «Вот, мой друг, рекомендую тебе такого-то», — называет фамилию, имя и отчество, — муж говорит: «очень рад познакомиться», — протянул руку, — а сам глядит в карты: — «очень рад», — говорит, — гвардеец отошел немножко в сторону, а маменька нагнулась к уху мужа и шепчет: «он сделал предложение Зиночке, — какого еще жениха? — соглашайся скорее», — а муж почти что

вслух ей: «Что ты, мать моя, пристаешь ко мне? Разве здесь место говорить? Ты видишь, мне некогда, в карты играем». — «Решайся скорее», — говорит маменька. — «Отстань ты, пожалуйста, от меня, матушка; до того ли мне, — видишь, я занят». — «Да ведь он только проездом здесь, ему ждать нельзя». — «Ну, и пусть не ждет, если нельзя. Отстань ты с ним от меня». — Нечего делать, отстала. — «Что ваш супруг отвечал?» — спрашивает жених. — «Ему некогда, он занят; я попрошу вас подождать ответа до завтра утра. Но мое слово вам дано». — «Если я ваше слово имею, то чего мне больше? Мне больше ничего не надобно. Кому же, как не матери, располагать рукою дочери? Может ли мужчина понимать женское сердце?» — говорит жених. — «Это правда, — говорит маменька Зинаиды Семеновны, — никакой мужчина не может, а мой муж тем больше». — «Неужели, — говорит жених, — такая дама, какую я вижу в вас, должна ждать приказаний от мужа?» — «Я, —говорит маменька Зинаиды Семеновны, — и не жду приказаний. Я себе и моей Зиночке — сама госпожа». — «Значит, я уже в полной надежде на вас». — «Будьте в полной надежде», — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — «Позвольте мне опять просить Зинаиду Семеновну на кадриль или на мазурку», — говорит нареченный жених. — «Извольте, просите», — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — «Это я потому прошу, — говорит нареченный жених, — что, мне кажется, я к родной матери такого почтения не чувствовал, какое к вам», — может быть, и в самом деле не чувствовал, удивительного ничего нет. — А маменька нареченной невесты тем больше в восторге: видит, будет почтительный сын. — «Что же сказал папенька?» — спрашивает Зинаида Семеновна своего кавалера. — «Ваш папенька не хочет нашего счастья. Вероятно, у него есть уж другой жених для вас». — «Ах, за другого я не могу идти, потому что я вас так же люблю, как вы меня». — «Я этого и не пережил бы, застрелился бы, — говорит кавалер, — потому что я без вас жить не могу». — «И я без вас не могу, — говорит Зинаида Семеновна, — я в чахотке умру». — «Ах, — говорит кавалер, — это будет ужасно, только зачем же этому быть? Лучше — вы так и скажите маменьке; она женщина умная и вас любит, она это предотвратит и устроит наше счастье, хотя бы папенька и не был согласен; что его спрашивать». — «Я

пойду, скажу»,— говорит Зинаида Семеновна. Пошла. — «Маменька, говорит, я не могу, без него жить, я умру, со мною чахотка сделается, или я утоплюсь; папенька не хочет нашего счастья». — «Папенька твой дурак, Зиночка, потому и не хочет; мы его слушать не будем». — Нареченный жених подошел: «Это, говорит, очень благородно, как я и ждал от вас, и благоразумно. Вы его и не будете больше спрашивать? Ведь вы не должны ждать приказаний от него, как вы говорили. Зачем же его спрашивать». — «Конечно, незачем», — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — «Потому что вашей воли совершенно достаточно», — говорит жених. — «Достаточно», — говорит маменька Зинаиды Семеновны. «Значит, — говорит жених, — вы позволите мне называть вас маменькою». — «Называйте», — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — «Милая маменька, так как теперь дело решено вашею волею, то надобно его и устраивать». — «Конечно, надобно», — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — «Вы, милая маменька, позволите мне заняться этим?» — «Позволяю, — говорит маменька Зинаиды Семеновны, — займитесь». — «Когда же вы, милая маменька, прикажете увидеться с вами?» — «А вот завтра у нас бал, так вы пожалуйте, мы с Зиночкою рады будем». — «Значит, милая маменька, вы мне приказываете к завтрашнему вечеру устроить это дело?» — «Да, к завтрашнему вечеру и устройте». — «Покорно вас благодарю, милая маменька. — А ему вы и не будете говорить, милая маменька?» — «Не буду, зачем же». — «Ваша правда, совершенно незачем, милая маменька, потому что это вовсе не его дело, а ваше». — «Конечно, так», — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — «Позвольте мне, милая маменька, попросить Зинаиду Семеновну еще на одну кадриль». — «Пригласите, позволяю». — Танцуют жених с невестою. — «Теперь, обожаемая моя Зинаида, наше счастье может назваться решенным; лишь бы только твой папенька не узнал прежде .времени, — он может погубить нас». — «Конечно», — говорит Зинаида Семеновна. — «Так ты, ангел мой Зинаида, присматривай за мамашею, чтоб она не проболталась». — «Я буду присматривать», — говорит Зинаида Семеновна. — «Завтра мы и повенчаемся, бесценная моя Зинаида». — «Ах, какое счастие», — говорит Зинаида Семеновна. — «Для меня еще больше счастья, чем для тебя. Ты ей завтра уж перед самым балом скажи, когда

начнут съезжаться — раньше не надобно говорить ей об этом». — «Конечно, не надобно; как же я ей скажу?» — говорит Зинаида Семеновна. — «Ты так просто и скажи: успеет ли он, маменька, исполнить к нынешнему вечеру ваше приказание, чтобы нынче во время бала была свадьба, — как вы думаете, маменька, успеет ли? — она и подумает, что она так приказывала». — «Ах, как это хорошо! я ей так и скажу». — Бал в Дворянском собрании кончался, папенька Зинаиды Семеновны доиграл свою пульку, стали собираться ехать домой. Гвардеец тут же, провожает их, старается угодить и папеньке Зинаиды Семеновны. Посадил дам в их карету. Едут они. — «Какой прекрасный молодой человек», — говорит папенька Зинаиды Семеновны маменьке ее. — «Я очень рада, что он тебе нравится, — говорит маменька Зинаиды Семеновны, — потому что он и мне тоже очень нравится; я уж пригласила его завтра на бал к нам». — «Конечно, пригласить следовало; только зачем же ты, матушка, не сказала этого мне? Обо всем прежде надобно спроситься мужа», — говорит папенька Зинаиды Семеновны ее маменьке. У маменьки душа ушла в пятки. — «Что ты мне о нем говорила? Я не вслушался, потому что картами был занят», — говорит папенька Зинаиды Семеновны маменьке ее. — «Не говорите ему ничего, маменька», — шепчет Зинаида Семеновна своей маменьке. — «Знаю без тебя», — шепчет маменька Зинаиде Семеновне. — «Я тебе его рекомендовала, что он с нами познакомился». — «Ты что-то про Зиночку тут же говорила, да я не разобрал», — говорит папенька Зинаиды Семеновны ее маменьке. — «Я говорила, что он со мною и с Зиночкою познакомился», — говорит маменька Зинаиды Семеновны ее папеньке. — «Ты что-то говорила про то, что он скоро уезжает, чего-то ждать не может». — «Я говорила, что он завтра поутру собирается уезжать, так не может нашего бала ждать; а потом он передумал, сказал, что будет». — «Видно, ему рассказали, какие мы балы-то даем, хоть бы и в Петербурге у первых вельмож такие были, так не стыдно бы, — говорит папенька Зинаиды Семеновны, — а я тогда не расслышал, что ты говоришь, только слышу, что чего-то ждать не может. Нашла время, матушка, говорить, под руку. Видишь, человек занят, могла бы подождать. И точно ты принесла мне несчастье, как подошла: хуже да хуже стали идти карты.

Опять проигрался: целковых тридцать проиграл». — «Меньше бы играл, лучше бы было», — говорит маменька Зинаиды Семеновны ее папеньке. — «Нельзя, матушка, общество требует», — говорит папенька Зинаиды Семеновны ее маменьке. Так доехали домой, легли спать.

А гвардеец остался ужинать в Дворянском собрании с тамошними офицерами; он не гордый был. Да и офицеры-то были хоть армейские, но все же кавалеристы, а не простые, — тоже хорошие офицеры. Он и прежде с ними был разговорчив, а тут с двумя, с тремя и вовсе хорошо сошелся. Кончили ужинать, он этим двум-троим говорит: «Я к вам, господа, обращаюсь с просьбою, — не откажите». — «Мы, говорят, готовы с удовольствием все, что можем; в чем ваша просьба?» — «А вот, говорит, поедем ко мне, там расскажу, в чем моя просьба». — «С удовольствием», — говорят. — «Только вот, господа, в гости-то к себе я позвал вас, а не спросил, какова гостиница, в которой я остановился: шампанское-то найдется там?» — «Найдется, говорят, гостиница хорошая, шампанское всегда есть». — «Это хорошо», — он говорит. — Приехали, он им рассказал за шампанским, в чем его просьба, — так и так, говорит, пленила мое сердце ваша красавица, m-lle Березинская: женюсь; завтра свадьба. — «Стой, — те говорят, — здоровье невесты, прежде всего, — желаем ей и вам всякого довольства и счастия». — Чокнулись наскоро, выпили. — «Ну, теперь дальше говорите, — говорят, — в чем ваша просьба к нам». — «В этом, — он говорит, — и вся моя просьба, — свидетели нужны; прошу вас, господа; — тоже священника нужно найти, чтоб остановки не было, — вы здесь знаете все, что и как, какой поп такие скорые свадьбы может венчать, — прошу вас, помогите, господа». — «Только-то, говорят, в этом-то вся ваша просьба? Это, можно сказать, не мы вам услугу будем оказывать, а вы нам оказываете услугу, что доставляте такой случай, — это для нас только одно удовольствие, а хлопот никаких». — Тут стали предлагать тосты уж как следует, с церемониею, потому что прежде наскоро выпили, чтобы не задерживать его речи, — невесту хвалили; — точно, первая невеста в городе; поздравляли его, все по порядку. Ну, и хвалили его, как молодца, что так живо дело обработал. У всех на душе весело было, — и с ужина-то приехали уже веселые (да и за ужин-то садились уж веселые, как обыкновенно), —

а тут не то что от одного вина было весело, а то, что дело отличное, молодецки поведено: в один вечер обработал! — молодец! истинный кавалерист, хоть и гвардеец; так прямо и говорили ему, потому что сошлись: «хоть ты, говорят, и гвардеец, а все-таки истинный кавалерист». Так и заночевали тут, взявши еще нумер или два, — сколько там кроватей нужно было.

Проснулись часа уж в три, может быть, в четыре. Славно поспали! Уж и обедать-то почти что некогда — пора за дело, — на скорую руку перекусили, однако хорошо покушали, и выпили за здоровье невесты опять, — только все так живо, потому что пора за дело, давно пора! — к попу скакать, с ним торговаться, что ему денег-то передавать понапрасну? — дело самое легкое; это и не он один в городе согласится повенчать, — двоих, троих таких можно найти. Если бы дело не такое, — родство, или невесте лет нет, или бы невеста бежала (а тут мать согласна, ничего не может быть), или бы против воли невесты, то есть насильно бы ее водить вокруг налоя, — потому что и так бывает, — ну, тогда, конечно, этот поп один, — и торговаться с ним плохо, — а тут никакого затруднения, и 50-ти рублей (тогда еще было на ассигнации) — за глаза довольно. Жених сто рублей дает, — на всякий случай, говорит. — «И не нужно, говорят, давай 50, больше и брать с собою не хотим, чтобы соблазну не было передать».

Оно, конечно, дело такое, что затруднений никаких; но все же хлопот много, — так часов до десяти провозились и приятели-то, и жених-то, — ну, и одеться нужно, и все, — смотрят, — пора ехать на бал к будущим тестю с тещей. Другие-то офицеры были тоже приглашены, поехали; один остался при коне, караулить, смотреть, чтобы все готово было.

Приехали; в самое вовремя, — ни рано, ни поздно, гости уж начали съезжаться, — много. Бал прекрасный. Хозяева хозяйничают, суетятся, — принимают гостей, — хозяйке да хозяину на бале много заботы, — туда, сюда, — все нужно самим посмотреть: закуски, вина, десерты, фрукты. Вот идет папенька Зинаиды Семеновны в буфет, что ли, или в кухню, или в столовую, взглянуть на что-то, в порядке ли; — видит, два лакея тащат кровать по коридору. — «Что это?» — спрашивает. — «Барыня приказала; не знаем», — говорят лакеи. — «Что она, с ума сошла? Отнесите на свое место назад, не

нужно». — Понесли назад. — Идет папенька по коридору дальше, — третий лакей ему навстречу, тащит подушки. — «Это что?» — «Барыня приказала, не знаю». — «С ума сошла твоя барыня, неси назад на свое место, не нужно». — Лакей понес назад подушки. — «Экая дура какая жена-то у меня, — думает папенька Зинаиды Семеновны про ее маменьку, — нашла время мебель пере­ставлять! До того ли теперь, чтобы отвлекать лакеев из приемных комнат для таких глупостей? Можно бы, кажется, до завтра отложить. Экая дурища-то какая!»

А он напрасно ее бранил: она вовсе было не глупо вздумала. Когда приехал жених, подошел к ней, говорит: «я, милая маменька, исполнил ваше приказание: все готово, и в церкви ждут», — она говорит: «у какого же столяра, мой милый друг, вы так скоро нашли кровать, и хороша ли?» — «Этого, — говорит, — я не успел сделать, милая маменька. И не смел делать, милая маменька, потому что не имел на это вашего приказания. Я из этого заключил, что ваша воля состоит в том, чтобы мы из церкви возвратились сюда же, и я вместе с другими гостями уехал бы, чтобы никакого вида не подавать, — для того, чтобы не было неприятностей в семействе в такое время, — а потом завтра мы постепенно и сообщили бы батюшке. Мне казалось, милая маменька, что ваша воля такая». — «Это все так, вы во всем мою волю отгадали, милый сын; только как же без кровати-то?» — «Я так угадывал, милая маменька, вашу волю, что зачем же кровать, когда молодая еще проводит время у родителей? А когда я завтра поутру приеду переговорить с батюшкою, тогда мы и кроватью займемся. Я так понимал вашу волю, милая маменька». — «Нет, милый сын, — вы во всем отгадали мою волю, только в этом большую ошибку сделали. Как же можно быть свадьбе без кровати? Нельзя». — «Это ваша правда, милая маменька, я сделал большую ошибку, не понявши в этом вашего приказания. Позвольте мне посоветоваться с моими помощниками, как это исправить». — «Надобно исправить, милый сын. Без кровати нельзя быть свадьбе».

Жених отозвал своих помощников в сторону. — «Вот какое обстоятельство, господа». — «Ну, я скажу, что у меня есть кровать, что уж я и отвез ее к тебе», — говорит один из помощников. — Подошел вместе с женихом к нареченной теще. — «Вот он уже исправил мою

ошибку, милая маменька». — «Я понял, — офицер назвал маменьку Зинаиды Семеновны: по имени и отчеству, — что он, по множеству своих хлопот, позабыл понять вашу волю в этом случае, и я сам распорядился, послал свою кровать». — «А какая ваша кровать, батюшка?» — говорит маменька Зинаиды Семеновны офицеру. — «Хорошая», — «Да какая же?» — «Красного дерева». — «Ах, как можно, чтобы на свадьбе моей дочери была кровать красного дерева! Нынче красное дерево вовсе не в моде, вовсе не в моде. А полог какой?» — «Хороший». — «Да какой же именно?» — «Канаусовый». — «Как же можно, чтобы на свадьбе моей дочери был канаусовый полог, — нет, нет, этого я не могу допустить. Не могу». — «Как же быть, милая маменька? Уж иначе нельзя. Завтра перевезем какую вам угодно будет кровать с каким угодно будет пологом, — уж достанем. А нынешнюю ночь пусть постоит его кровать, — ведь ныне молодая, по вашей воле, еще здесь останется». — «Нет, нельзя; так — не могу допустить свадьбы. Уж и не знаю, как мне быть, — в такое затруднение вы меня ввели вашей ошибкою. Разве вот что? — Пошлю я к вам свою кровать». — «Позвольте посоветоваться, милая маменька».

Отошли, подозвали другого своего товарища. — «Как быть с этою дурою? — Когда потащат кровать, постель, — муж может узнать, — пропадет все дело», — говорят жених и прежний офицер товарищу. — «И подвернулся же канаусовый полог на язык, — что у меня есть канаусовые рубашки, вспомнил, — ведь бывают же этакие беды!» — говорит прежний офицер. — «Да, — говорит новый офицер прежнему, — этот канаусовый полог все дело изгадил». — «Теперь как быть с этою дурищею? — говорят все трое друг другу, — ничего не сделаешь с нею, уперлась; не сговоришь». — «Правда, спорить против нее, только рассердить. Пожалуй, и вовсе на дыбы станет». — «Надо уступить ей, иначе нельзя. Может быть, и сойдет с рук».

Подошли опять к маменьке Зинаиды Семеновны. — «Милая маменька, — говорит жених, — ваша воля совершенно справедлива. Вот он велит на дровнях приехать за кроватью и постелью». — Один из помощников пошел, распорядился. Приехали на дровнях к заднему крыльцу. Жених сказал маменьке Зинаиды Семеновны, что готовы дровни. — «Теперь можно в церковь ехать, милая маменька?» — «Теперь можно, потому что постель бу-

дет». — И пошла распорядиться, чтобы кровать и постель выносили. Вот как было устроилось дело, когда папенька Зинаиды Семеновны расстроил его, и еще побранил в мыслях жену дурою, что она в такое время отвлекает лакеев от дела на пустяки, — а сам не знал, что это такое; а если бы знал, не сказал бы, что пустяки.

Маменька Зинаиды Семеновны пошла в свою спальную распорядиться постелью, а Зинаида Семеновна пошла из зала, где танцевала, в свою комнату, а из своей комнаты прошла на заднее крыльцо, — там стоит один, из помощников, с санями; сели, поехали в церковь; а жених с другим офицером вышли с переднего крыльца, — сели в другие сани, поехали. В церкви все уж готово; живо повенчались; поехали назад. Все это так хорошо устроилось, без всяких задержек, часу не проездили, — воротились. Если кто спрашивал: «что вас не видно было?» — молодая отвечала, что наряд, прическу поправляла в своей комнате; молодой отвечал, что уходил в буфет. Никому не было никакого подозрения. Да мало кто и замечал, что Зинаида Семеновна и гвардеец пропадали, — комнаты большие, комнат много; почти никому не случилось и спросить Зинаиду Семеновну или гвардейца, почему не было видно ее или его несколько времени.

Так хорошо все устроилось. Только, маменька Зинаиды Семеновны была несколько огорчена, что кровать с постелью воротились на прежнее место. Но женщина умная, рассудила, что уж так и быть, нечего огорчаться. Утешилась в этом. Только стала беспокоиться о том, как завтра мужу сказать, — съест он ее за такое самовольство. — «Не изволите беспокоиться, милая маменька, — говорит зять, — зачем же вам принимать на себя ответственность, не для чего вам подвергаться неприятности; хоть большой неприятности и не будет, но и никакой не подвергайте себя. Я все обязан принять на себя; иначе я был бы неблагодарный. Вы ничего этого и не знали. Ваше дело сторона. Вы даже покажите вид, что тоже прогневались. Не беспокойтесь, милая маменька, до вас ничего не коснется. Предоставьте мне одному все хлопоты, — и вы увидите, что мы с батюшкою хорошо уладимся». — Маменька Зинаиды Семеновны успокоилась и в этом..

Время идет, старики в карты играют, кавалеры и дамы танцуют; бал, точно, отличный, хоть бы в

столице, — и ужин тоже превосходный; после ужина разъехались гости, и гвардеец уехал вместе с другими, — с ним уж не двое, а все трое офицеров, его приятелей, поехали, потому что после венчанья и тот офицер приехал на бал, который до свадьбы караулил попа. Папенька с маменькою Зинаиды Семеновны, проводивши всех гостей, пошли в свою спальную и уснули. Зинаида Семеновна пошла в свою комнату, тоже, может быть, уснула, — а может быть, и не уснула, от волнения.

Молодая, — спит ли, или не спит, только остается смирно в своей комнате; — а молодому с его товарищами надобно же вспрыснуть свадьбу, поблагодарить друзей, потому все трое офицеров опять проехали к нему в гостиницу, — поздравляли, тосты пили, — но не остались долго, потому что устали, всем отдохнуть хотелось. Просидевши с молодым час, может быть, меньше часу, уехали по домам. Он тоже один остался в своей комнате, как и молодая.

Спят папенька Зинаиды Семеновны с ее маменькою, — только просыпается папенька Зинаиды Семеновны: стук какой-то, крик, шум, — это его разбудило. Послушал, — не унимается шум, — надобно посмотреть, что такое. Нечего делать, встал, пошел. Шум идет из зала. Папенька Зинаиды Семеновны входит туда, — еще совсем темно, но видно, у одного окна человека три стоят в зале, смотрят в окно, отбиваются, ругаются, — их-то голоса он узнал: лакеи. — «Что такое?» — «Вот, сударь, какой-то человек, пьяный, в окно лезет, и с саблею, — саблею окно рубит, — изволите видеть, уж стекла повыбил, — опасности нет от него, потому что где ж ему влезть в окно? — пьян, не может; — кричит тоже, сударь, — что кричит, понять трудно, потому что очень пьян, — а только все про жену что-то поминает, что я, говорит, к жене иду, как вы смеете меня не пускать. Ошибся, должно быть, с пьяных-то глаз». — «Как же с этим быть?» — спрашивает папенька Зинаиды Семеновны. — «Мы так, сударь, думаем сделать: очень он пьян, потому опасности нет, чтоб он мог саблей своей зарубить; так мы, сударь, к нему выйдем на улицу, — саблю-то у него вынем из рук, а его поведем под руки, — смотря по тому, какой окажется: если благородный, то домой его отведем, а если из простого звания, то на часть». — «Так вы и сделайте», — говорит папенька Зинаиды Семеновны. — «Слушаем, сударь», — Лакеи по-

шли. Папенька Зинаиды Семеновны остался в зале у окна, — посмотрел, как подошли лакеи к пьяному, — было еще очень темно и на улице, нельзя рассмотреть пьяного в лицо. Но фигуры-то на улице видны, — будто в офицерской шинели, — что ж, особенного ничего нет, это случается; папенька Зинаиды Семеновны посмотрел, как лакеи его взяли пьяного под руки, повели. А пьяный все кричал что-то про жену, что он к жене идет. Когда его увели, папенька Зинаиды Семеновны пошел опять спать. Жена просыпалась тоже, спросила, что такое. Он ей рассказал в коротких словах: «вот пьяный какой<-то>, в офицерской шинели, ошибся домом, лезет, кричит: что вы не пускаете? я домой иду, говорит, тут моя жена. Евграшка с другими взяли его, повели», — в коротких словах рассказал это папенька Зинаиды Семеновны ее маменьке, потому что ему спать хотелось после ужина: «сон, говорит, одолевает, матушка; ужин-то, точно, отличный был у нас». Уснул опять.

Долго проспал папенька Зинаиды Семеновны. И молодой тоже долго проспал. Проснулся и думает: «Что это такое мне вспоминается, будто я что-то про тестя с тещею слышал, когда меня назад вели? — Экую глупость какую я сделал! Ведь это я к ним в дом ломился! Какой страм-то! Ну, да это ничего. Надо узнать, ломился ли только в дом, или, может, и дрался с тестем. Это, конечно, были их лакеи. Что ж они мне про них рассказывали? Перед тем, как ехать к новому тестю объясняться, надобно мне хорошенько узнать, что такое я ночью-то наделал и что они говорили, — должно быть, что сердился тесть? — ну, как сердился, надо узнать». — Свистнул молодой, вошел его лакей. — «Что такое со мною было, Дормидон?» — «Обманули вас, сударь, — говорит Дормидон, — воспользовались вашею неопытностью». — «Как? Что ты говоришь?»

— Вы, сударь, изволили жениться с вечеру-то, как я слышал от их людей, — вашего-то тестя людей, которые вас привели, — а они из ваших-то слов это поняли, пока вас вели, — изволили вы, сударь, повенчаться на их барышне, — конечно, в расчете на приданое-с и на наследство, что как вы видели, они живут очень пышно, и что она, — то есть нонешняя-то супруга ваша, сударь, — одна, у них наследница всему, так расчет богатый, — а только в том ваша ошибка состояла, сударь,

что они прожились дочиста, — как есть, голые стали они, тесть-то ваш, сударь, с тещею, — поместье, точно, большое, только заложено и перезаложено, и само того не стоит, сколько на нем долгов. — Оченно жаль, сударь, что вы так-то поспешили. Их лакеи так мне говорили, — когда вас привели, мы с ними разговаривали, — так вот как они мне говорили: если, говорят, он здесь жить останется, то точно, может с ними жить, как и они живут, — и в пышности покуда, в первые месяцы; только это не надолго может протянуться, потому что имение должно скоро идти в аукцион, а занять им больше неоткуда, уж никто не может им теперь дать денег, — они последние деньги теперь доживают, которые в прошедшую зиму заняли, да и тех не должно уж быть ничего, а только в лавках в некоторых еще верят, — а что вновь занять денег в нынешнюю зиму они не могли, сколько ни бились; так если, — это люди-то их мне говорят, — он — то есть вы, сударь, — останется с ними жить, может жить, пока они сами живут, полгода, может быть, этот аукцион продлится, — а что приданого никакого не могут они ему — то есть вам, сударь, — дать, хоть бы и рады душою, — потому что сами ничего не имеют.

— Плохо дело, Дормидон, если так, — сказал моло­дой: — в долг-то я и сам умею жить, на это мне теща да жена не нужны; а здесь оставаться как же можно, — все ж лучше в Петербурге. Только все ли так, как ты говоришь? Может, и в состоянии дать что-нибудь, хоть и не так много, как я ждал.

— Нет, сударь, это дело верное. Может быть, что сот до пяти ассигнациями они могут иметь в руках, если будут доставать, — до пяти сот могут достать, а больше — нет. Я и буфетчика, и половых спрашивал об этом: верно-с. А это ваша совершенная правда, что как мы приехали в здешний город, так и выезжать из него для вас лучше. Эта ваша правда, сударь.

— Так, значит, едем. Ступай на станцию за лошадьми. А впрочем, позови буфетчика да из половых, кто порасторопнее, надо мне самому порасспросить.

— Это точно, сударь, лучше самому вам их расспросить, чтобы сомнения не оставалось. Только как это дело верное, то я, велевши им к вам идти, сам прямо на станцию пройду. Что ждать-то-с.

Буфетчик и половые совершенно подтвердили слова Дормидона. Пока они рассказывали, привели лошадей, Дормидонов барин рассчитался с буфетчиком, сел в повозку и поехал из города.

Когда я приехала в тот город, где осталась по-прежнему Зинаида Семеновна, — когда я встретила ее и услышала ее историю, это было лет через десять после ее свадьбы. «Незамужняя вдова», как ее называли, была суха, желта, стара не по летам, и молодилась не по летам, — держала себя еще девушкою, и в этом она была права, разумеется; неправа только в том, что держала себя очень молодою девушкою. Старалась любезничать, наивничать; за хвостом ее всегда таскалось несколько молоденьких офицеров, — плохеньких, самых плохеньких из всего туземного штата офицеров-кавалеров. Стало быть, она утешилась? — да, но все-таки, зачем же она была желта и стара не по летам, и зачем так худа? — стало быть, тосковала. — Смех смехом, а жалкая судьба. — Папенька и маменька ее тогда еще здравствовали. Жили они бедно. Конечно, она была глупая женщина или девица, — но ведь не она же была виновата, — во время своей незамужней свадьбы она была девчонка. Что понимают девушки, когда им 18, 20 лет? — Трудно вообразить, мой друг, какими глупенькими девушками бывают даже те, которые умны от природы и становятся умными женщинами. Так воспитывают, так держат девиц. — Я вспоминаю еще одну историю, тоже глупенькой девушки, — это была [свадьба] моей подруги, Надины Зверевой.

6

ДРУГОЙ ПРОЕЗЖИЙ ЖЕНИХ-ОФИЦЕР

**(Рассказ В. М. Ч.)**

Надина Зверева была очень глупенькая девочка, — и не только такая глупенькая девочка, как другие: она и от природы была простовата (такая и теперь остается); впрочем, хорошенькая и добрая. Мамаша ее тоже была очень простовата и тоже добрая. Madame Зверева была вдова, помещица средней руки, — не бед-

ная. Надина была одна дочка у ней, наследница всего. Лето Надина с мамашею жили в деревне; зиму — в губернском городе, — не богато, но не дурно; не могли давать балов, но давали вечера; — Надина постоянно выезжала в Дворянское собрание. M-lle Зверева, по нашему Дворянскому собранию, — плохенькому, хоть и с очень большим залом: зал, действительно, прекрасный, — по нашему Дворянскому собранию была хорошая невеста. Но мать не спешила принимать предложения, — предложения были, даже недурные, но Надина была еще слишком молода: лет 17-ти или 18-ти, — мать, хоть и простенькая дама, рассуждала неглупо, что лучше подождать; а Надина, когда услышит от мамаши, что мамаша отказала и этому жениху, поплачет, — не то, что об этом женихе, — это все равно для Надины, — а Надине очень хотелось поскорее выйти замуж, — зачем, она сама не знала, только очень хотелось: им и всем очень хочется, — ха, ха, ха, я не могу вспомнить об этом без смеха: ведь совершенно не знают, дурочки, чего это они так добиваются; если бы знали, очень многие повременили бы, — ха, ха, ха!

— Будто многие?

— Как же? Ведь девочки, — те, которым 16, 17, 18 лет, — я говорю о них, — ведь это ж девчонки, — многие из этих девчонок, вышедши замуж, и находят, что хорошо, — а очень многие долго плачут, не могут привыкнуть, — жалуются: «Если бы я, ma chère[[2]](#footnote-1), знала, какая это гадость — быть замужем, я никогда бы не пошла! — Не выходи никогда замуж, ma chère». — «Да что же такое, ma chère?» — «Ах, ma chère, гадость; пожалуйста, не выходи никогда замуж».

— Да будто это многие?

— Ну, конечно, — и натурально: ведь они дети; ведь девушка и в 18 лет обыкновенно еще дитя, — ей хочется резвиться, танцевать, бегать, прыгать, — обыкновенно, даже в 18 лет еще нисколько не пробудились страсти, — я говорю про наших провинциалок, простеньких, миленьких, добреньких, глупеньких, — добреньких, очень добреньких. Ведь это дети, им надобно было бы предоставлять еще детскую свободу и простоту, если бы наши папеньки, маменьки и братцы были умнее. Эти девочки очень милы, но — ха, ха, ха, — чрезвычайно смешны и

жалки потому, что им внушают такие мысли, которых они совершенно не понимают, а повторяют, — «я хочу замуж», — «я хочу замуж», — и ведь не только не понимают, — даже и не предчувствуют, что такое они говорят, — ха, ха, ха! — Ах, как это забавно! — но ведь сколько ж и несчастий выходит из этого! Ах, бедненькие, глупенькие! — за кого они выходят! — ведь хорошенькие, добренькие, — и за кого выходят, чтобы поскорее выйти замуж! — это ужасно, ужасно! — бедненькие! — но все-таки — ха, ха, ха! — это невообразимо смешно, какие глупенькие эти девочки.

Вот так и Надине очень хотелось выйти замуж; а маменька не отдает, — Надина и поплачет, когда маменька откажет жениху, — только немножко поплачет, потому что жених не особенно нравился, — она только была «влюблена» в него, — ха, ха, ха! — «влюблена»! — добренькая моя Надежда Ивановна, ей теперь уже под тридцать, но я думаю, ей и теперь-то нельзя растолковать, что такое значит быть влюбленной, — а в других женихов она даже не была и «влюблена» — а все-таки плакала, — но только немножко. Так вся зима прошла, — поехали в деревню Надина с мамашей, а Надина все еще не успела выйти замуж, — а уж ей как хотелось!

Приехали в деревню, — там кавалеров нет, влюбляться не в кого, — женихов нет, — Надина и забыла, что ей очень хочется выйти замуж. Не совсем забыла, — иногда вспоминала, только очень редко, а уж вовсе не плакала; а вот придет зима, тогда опять будет немножко плакать каждый раз, как мамаша будет отказывать жениху. Впрочем, она и зимой будет всегда веселая, — потому что не о чем ей печалиться, — плакать, да еще так немножко, это можно, — а быть невеселой не от чего и зимою, — а летом, когда женихов нет, уж и вовсе не от чего. А впрочем, скучно иногда без кавалеров, — да нет, и без них не скучно. Дурачится, — маменька говорит: «Наденька, ты не бегай, ты взрослая девушка, нехорошо; соседки увидят, осудят». — А Надина, как от маменьки с глаз, так и пустится вприпрыжку. У соседок были дочки, — она с ними; а часто и одна, с своими девушками, — тоже горничная была у нее, — или и вовсе одна, — так и бегают да бродят, пока ноги отобьют до колен.

Вот однажды Надина бежала, бежала, с одной из девушек, — вовсе маленькой крестьянскою девочкою,

лет 14-ти, — и добежала до большой дороги, — устала, остановилась. — Смотрит: по дороге едет почтовая телега парою, а на телеге сидит офицер, — а день очень, жаркий, а дорога песчаная, и ямщик сидит, дремлет, и офицер сидит, дремлет, лошади идут шагом, — как хорошо, что они идут шагом, — хорошо можно посмотреть на офицера; — а он и не гарнизонный, армейский! — а тогда во всей губернии только и было офицеров, что гарнизонные: давно уж не стояло никаких войск. Значит, это для Надины и очень любопытно, — она вышла на самую дорогу, чтобы как можно поближе посмотреть на офицера, — а офицер молоденький, хорошенький (и не хорошенький, как я увидела, когда он приехал в город, но Надине показался очень хорошенький), — она еще ближе, к самым лошадям, которые уже подходят к тому месту, где она ждет и смотрит, — та лошадь, которая была на ее стороне, фыркнула, — Надина: «ах!» — и не испугалась, потому что лошадь смирная, — чего пугаться? — а только так, как барышня, уж это вторая натура у барышень: «ах!» — а сама все глаз не сводит с офицера, — а как она сказала: «ах!» — офицер раскрыл глаза, — смотрит: телега едет мимо барышни, — барышня стоит так близко, что передними колесами чуть-чуть не задело платья, — и барышня раскраснелась, оттого что жарко и она бежала, так и горят щеки, как огонь, такая хорошенькая: полненькая, кругленькая, — прелесть, что за барышня, — и в соломенной шляпе с широкими полями, на шляпе лента, от ленты концы развеваются, — чудо, что за барышня, — и на него смотрит во все глаза, — так и раскрылись широко, широко глазки от внимательности: очень любопытно ей, — так и впилась в него глазками, — а они голубые, хорошенькие, — и эта барышня смотрит на него во все глаза и говорит: «ах, какой вы хорошенький!» — а он ей: «вы сама хорошенькая», — а ямщику говорит: «стой, я сойду, пешком пройдусь несколько». — «Вы позволите мне, барышня, с вами рядом идти?» — «Отчего же нейти? я очень рада буду. Здесь вовсе нет офицеров, а я люблю офицеров».

Можно вообразить, какая история могла бы произойти из такого умного ответа моей глупенькой Надины. А что же на самом деле произошло? — Вот что: Надина пошла с «хорошеньким офицером», — шла и болтала, что «вы такой хорошенький», — и он ей отвечал точно так же, — так они прошли версты две: — «Ах, — говорит

Надина, — я устала». — «И я тоже», — говорит офицер. — «А вы, может быть, и закусить хотите?» — «Да-с, — говорит офицер, — я очень благодарен». — «Так идите, — до нашего дома теперь не очень далеко». — Привела офицера, отрекомендовала маменьке, что он хорошенький, — слово за слово, офицер остался и обедать, — остался и ужинать, — ему некуда было спешить, — опять остался обедать, целые три дня прогостил и на третий день повенчался с Надиною, а через неделю все втроем, и дочка, и муж, и мамаша, поехали в губернский город, куда офицер ехал служить.

Я их видела потом: живут очень счастливо.

Вот, мой друг, и рассуждай после этого, что из чего выходит. Никак нельзя отгадывать. — Или можно?

7

ПЕСНЯ

**(Рассказ М. М. Ч.)**

Эта тетрадь была однажды у меня в руках. Мне не было позволено списать ее. Но одна пьеска осталась в моей памяти. Вот она:

Там, где липа моя,

Яму вырою я;

Устелю ее свежей травой...

Там, на белом песке,

В тишине, в холодке,

Как в могиле, сладко я задремлю.

День пройдет, ночь придет, —

Ветер ночи начнет

Тень прошедшего тихо свевать

И с груди, и с лица...

Сладко я, до конца

Жизни мира, там буду дремать...

Я не знаю, напечатана ли эта пьеска; — но едва ли. Я не знаю, была ли поэтом та, которая написала несколько пьес, составлявших эту тетрадку; быть может, эта сила поэзии была не сила таланта, а сила скорби. Это очень может быть.

ИЗ ЦИКЛА «МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ»

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДРУГА

Со мною не могло быть ничего такого. Я человек одинокий, никого не люблю, меня никто не любит, — какие огорчения в жизни могут быть у меня? — Иной раз чувствуешь подагру или небольшую одышку, — остальное все благополучно. Но бывает иногда досадно, когда видишь ошибку.

В молодости мы служили вместе с одним тоже отличным человеком. Он вышел в отставку, уехал в деревню; нажил детей, как следует. Провел в этом занятии лет двадцать пять, и вдруг я получаю от него письмо такого содержания, что, дескать, по старой дружбе, похлопочи: сын мой, говорит, прекрасный молодой человек, но имел несчастие влюбиться в девушку без состояния и даже не нашего сословия, а дочь соседнего управляющего, — я, пишет это мне отец, не спорю, что она прекрасная девушка, но не пара; потому он выкинул такую штуку, что увез ее, и где они теперь, неизвестно; а надобно полагать, скорее всего, в Петербурге, потому что где ж ему искать хлеба, как не в Петербурге? — Потому что, все он пишет, у моего сына нет ничего, ускакал с двумя стами целковых; и что теперь он с нею едят, неизвестно, а надобно полагать, что сидят не евши; и хотя, пишет он, я очень досадовал, но отцовское сердце заговорило, да и мать этого повесы просит: неужели, говорит, мы уморим сына с голоду? — Потому, он пишет, старый дружище, поищи ты моего парня. Счастье наше с женою будет, если они не повенчаны; но не смеем и надеяться на это: как бы не повенчался, безумная голова, то давно бы написал, попросил

прощения. Но ты скажи, что всё прощаем. Голы они и босы, надобно полагать, — ты их экипируй прилично, чтобы не стыдно было показаться в нашу здешнюю публику как следует сыну богатого помещика и его жене: когда повенчались, то уж дочь и она, толковать нечего; ну, экипаж тоже возьми, посади их да и отправь к нам в Бугуруслан, обнадеживши, что примем с ласкою и благословением и попреков не будет. Приметы же: сын — вылитый как я был, только по-нынешнему не бреется, так вообрази, каков был я в те годы, лишь с окладистою бородою; а борода черная. Она же лет 19-ти, маленькая, хорошенькая, востроносенькая, глаза серые, волоса шатеновые; а если не забыл, то похожа на нашу бывшую генеральшу Назаренкову, когда генеральша еще была в девицах.

Ладно, я говорю: поищем.

Послал своего Игнатия Трофимыча в Адресный стол, — там ему дали штук до пятнадцати Гусевых, молодых людей, и женатых и холостых: он всяких брал, на оба, знаете, случая. Проездил два утра, три целковых, возвратился с тем, что так ни один и не подошел под приметы. Однако, я сам съездил к двоим, которые казались поподходящее других на его глаза: точно, и они не подходят. Один женат на брюнетке, другой тетку показал: вот, говорит, удостоверьтесь от тетушки, что все наше семейство коренные петербургские жители, безвыездные; а если этого не довольно вам, допрошу вас, отправимся к отцу-матери моей супруги, они живут в Большой Офицерской, в доме Рашетта. Нет, говорю, верю. Написал своему старому однокашнику: из пятнадцати человек ни один не подходит под твоего сына с его женою ли, любезною.

Получаю от моего Гусева ответ: не прост ли ты, друг? Как же ты хотел, чтобы молодой человек с девицею ли или женою, но благородною, скрывающиеся от родителей, жили под настоящим именем?

Точно, думаю, прав старик; а вот я тоже старик, но немножко опростоволосился. Ладно, поищем по приметам, наведем справки. Дал в этом смысле инструкцию своему Игнатию Трофимычу, он подобрал себе в пособие человека два-три таких нюхальщиков, пошли нюхать по Петербургу. И сам я старался узнавать. Но, конечно, в таких вещах скорее можно доискаться по мелочным лавочкам и от дворников, и притом же их

целых четверо искало, а я один, — не мне, а им и случилось попасть на след.

Живут на Петербургской, на Малом проспекте, в доме вдовы чиновницы Хрисанфовой; приехали в Петербург назад тому четыре месяца; повенчаны; паспорт у мужа: чиновник канцелярии казанского прокурора, Рукавишников, уволен в Петербург на полгода. Приметы все те: высокого роста, смуглый, волоса черные, курчавые, нос орлиный, лицом красив, борода окладистая. И жена по всем приметам та самая. Живут бедно, в лавочку не должны, а есть слух, что стали должать хозяйке.

Должно быть, они самые. Отправился туда. «Дома чиновник Рукавишников?» — знаете, домишка самый беднейший, весь-то и с двором трех тысяч не стоит, дворника нет, спрашиваю стряпуху. — «Барина, говорит, нет, он каждое утро бегает искать, должности какой не найдет ли, или так работы. А барыня дома». — Ну, думаю, оно и лучше, что его нет, переговорю с хозяйкою, не знает ли она чего, чтобы еще не влопаться, мимо да в лужу: может быть, ведь и не они. — Нет, — я говорю кухарке, — с молодой барыней мы после поговорим, а прежде ты проведи меня к своей барыне.

Ну, женщина немолодая, неглупая, сначала было пересконфузилась, потому что, точно, женщина небогатая, с нашим кругом не имеет знакомств, — с какой стати пожаловал? — но поразговорились, увидели друг в друге благородных людей, у ней рассеялось это, знаете, подозрение, не волокитствовать ли я хочу, стала говорить откровенно. Точно, говорит, я могла заметить из их разговоров, что тут что-нибудь не так. В паспорте прописаны имена Павел Андреич и Марья Степановна, и они сами при мне так называют друг дружку и в разговорах со мною и с кухаркою, — а обе мы несколько раз слышали, что она его зовет Гриша, а он ее Зина. Но, говорит, такие прекрасные молодые люди, и не только я, даже Агафья так их полюбила, что мы не подаем им никакого вида, что у нас есть подозрение; а тем больше, чтобы стали мы говорить кому об этом, — а ваше дело дружеское, то перед вами открыть считаю не болтовнею.

Когда она сказала мне это, я сейчас справку по письму: так, молодой Гусев Григорий. Значит, не оставалось бы сомнения; но я все-таки говорю; а нельзя ли

мне взглянуть на нее, незаметно для нее? — Можно, говорит, пойдемте, я скажу ей, что вы осматриваете все комнаты, потому что хотите снять мой домишко под свою канцелярию. — И то дело, говорю; пошли. Точно, молодая женщина, лет 19-ти или 20-ти, — на генеральшу Назаренкову в девицах мало походит, потому что я был в ту генеральшу влюблен, и в девицах и в генеральшах, значит, подобных ей нет на земле; но если бы другой посмотрел, сказал бы: точно, для краткости в описании можно сказать, что есть сходство.

Хозяйка ей объяснила, по какому случаю я тревожу ее своим входом, — я прибавил от себя извинение, она отвечала, я еще — она тоже, — видит, что я заговариваю, попросила садиться, — поговорили минут с пять, я, чтобы не было опять и у ней какого-нибудь мнения обо мне, не стал сидеть, раскланялся, ушли опять к хозяйке. Теперь уж не было сомнения, что, точно, удалось отыскать настоящую парочку. Узнавши от хозяйки, когда застать его, приезжаю на другой день. — «Дома Рукавишников?» — «Дома», — говорит кухарка. Прекрасно.

Вошел, — сидели обнявшись, как нежные голуби, ворковали, вскочили, она покраснела. — «Прошу извинения, сударыня, но <я> по делу, и, как надеюсь, увидите, не такой человек, чтобы вы меня конфузились. Позвольте мне поговорить сначала наедине с вашим супругом, который ничего не может услышать от меня, кроме приятного для вас и для него». — Они, знаете, занимали две комнаты; она ушла. Я к нему, знаете, без больших предисловий:

— Ваше имя — Григорий, — не так ли? Поверьте, что я руковожусь не чем иным, как искренним расположением.

— Позвольте мне ближе узнать цель вашего вопроса, — он говорит.

— Извольте, — я говорю. — Я бывший сослуживец отставного капитана лейб-гвардии Гусева, живущего в своем поместье, в Бугурусланском уезде.

— Очень приятно, — он говорит. — Я слушаю вас, — говорит.

— У него есть сын, Григорий; этот молодой человек увез девушку, жениться на которой отец не позволял ему, — поэтому, повенчавшись, молодые уехали; — в Петербург; у них не было денег, они должны нуж-

даться; но они совершенно ошибались, не надеясь на примирение со стариком и старухою Гусевыми. Старик от имени своей жены и своего просил меня найти сына, уверить его в их родительской любви, пригласить их возвратиться.

— Все это очень любопытно, — говорит молодой человек. — Признаюсь, я слушаю вас с большим интересом. Прошу вас, продолжайте. — Сам заметно меняется в лице, но с бодростью, к лучшему, — будто мои слова оживляют его.

— Я кончил, — говорю я.

— Кончили?

— Да, — говорю.

Он вдруг вспыхнул и побледнел. Долго молчал, — видно было, что борется с собою. Потом с усилием проговорил:

— Вы ошиблись, милостивый государь. Я не Гусев.

— Я забыл договорить: я имею на руках деньги от старика, моего приятеля.

— Я это понимал, милостивый государь. Но я не Гусев.

Разумеется, мы говорили громко — что я пожелал быть наедине с ним, так ведь это больше только форма. — Как он сказал это во второй раз «я не Гусев», она как будто застонала в той комнате.

— Не к чему это, — я говорю, знаете, уже строго, как пожилой, опытный советник. — Вы слышите, — я говорю, — пожалейте ее; из пустой щепетильности нечего скрываться. А если вы сомневаетесь, то совершенно напрасно.

Он свое: — Вы ошиблись, я не Гусев.

— Но вы не Рукавишников.

— Если вы это знаете, то да. Надеюсь, что не обратите во вред мне это сведение.

— Не о том разговор, чтобы я стал вредить, а берите деньги, да поезжайте с богом.

— Не могу, потому что я не Гусев.

Я уже вовсе с досадою говорю ему: — Вы жестокий упрямец. Пожалейте вашу жену.

Он закрыл глаза рукою и опять с большим усилием сказал: — Ну, пусть она решает сама. Зина!

Вошла она. — Ты слышала — решай.

— Он не Гусев, и мы не можем взять ваших денег.

Я попытался урезонивать ее, — нет, тоже уперлась. Бросил, ушел. Рассудив так: видно, еще не пробрала нужда до костей; подумайте, потерпите, друзья; через месяц будете поразумнее. Сказал им, что вот мой адрес, но что если ему не будет времени увидеться со мною раньше, то я сам понаведаюсь недели через две, — а лучше заехал бы он пораньше, да и взял деньги. С тем и простились.

Приезжаю через две недели, хозяйка говорит: «съехали с квартиры, боялись вас». — Куда же? — «Не велели сказывать». — А вы все-таки скажите, а то и без вас найдем, — в первый раз нашли же, во второй тем легче. — «Нет, теперь будет помудренее, потому что теперь уж не в Петербурге искать». — Ну вот, и проговорились; так уж досказывайте. — «Точно, выехали; а куда, все-таки не скажу». — Я потолковал с нею еще, опять уверил, что желаю им пользы; она призналась, что они остались ей должны, рублей до пятидесяти; разумеется, плакалась при этом на свое сиротство. Я на этом и уловил ее: «если скажете, куда они уехали, отдам вам их долг». Она подалась: «скажу; но так не умею, потому что уезда и села не помню, имена-то мудреные, а память плохая; принесу вам адрес». На этом нельзя обмануть: нет, прежде принесите адрес, тогда и деньги получите.

Дело не стало у ней за адресом: на другое ж утро принесла записку, — но вышло такое подозрительное обстоятельство, что я очень усомнился: возвратившись, моя чиновница запела уж совсем не тем тоном, как вчера. «Я, говорит, не хочу вас обманывать; эту записку я написала было для вас обманом; они вовсе не уехали из Петербурга, здесь они; но так запрятались, что во веки веков не отыщете, и контрамарку сдали, что выезжают из Петербурга. Кроме меня, ни через кого не найдете дороги к ним. А точно, чрезвычайно нуждаются. Теперь не откажутся от ваших денег. Давайте, я им отдам». — Да я сам отдам. — «Нет, давайте мне». — Не очевидное ли мошенничество старухи? — Нет, матушка, я не отдам денег иначе, как из рук в руки. — Обиделась: «ах, говорит, вы не доверяете мне, как это вы так можете меня подозревать? Я тоже хоть не генеральша, а штаб-офицерша, надворная советница. Это для меня очень обидно». — Напрасно, я говорю,

обижаетесь, а впрочем, как угодно. Не моими деньгами не могу располагать по своему доверию, а должен отдать в руки тому, кому присланы. Знаете, и я-то уж прилгнул немного, потому что никаких денег еще не было прислано мне от его отца, — ну, да это так всегда говорится. С тем и ушла.

Опять послал своего Игнатия Трофимыча. Нет, никаких следов. В полицию действительно показано, что выехали из Петербурга; — справлялись во всех кварталах, нигде не вписаны прибывшими Павел и Марья Рукавишниковы; по улицам ходили, смотрели, по лавочкам дознавались, все сделали, что можно — нет. Через неделю воротились, говорят: нет, не имеем никакой надежды.

Меня, знаете, взяла совесть, а больше досада: как же, осрамиться перед старым приятелем в таком деле? — были птички в руках, да вылетели; на что это похоже? — Дай, думаю, попробую с этой старухою повозиться, может быть, и усовещу, урезоню. Поехал. — Что ж, господа, — страм сказать: она меня кругом оплела, — смотрю я на нее и думаю: не дурак же я, и не слепой же я в самом деле: честная женщина, хоть зарежьте меня, честная женщина, не похожа на мошенницу. Взял, да и отдал ей 500 рублей.

— Отдали?!

— Да, отдал, говорю: «передайте, верю вам». И даже признаюсь вам, если бы спросила больше, то и больше дал бы: вижу, что честная женщина, не мошенница. И отдал.

— Но это непростительно.

— А что прикажете делать? Сам понимал, что делаю глупо. Но не сказывает их адреса, а по разговору, по всему — благородная женщина. Я и сказал ей: «Глупо поступлю, но извольте, отдам вам деньги». — А она, знаете, как ни в чем не бывало: «Да у вас, батюшка, достаточно ли денег-то? Им до пятисот понадобится, потому что они здесь позадолжали». — Извольте вам 500 рублей. Вынул, положил и с тем ушел. Даже расписки не взял у нее, такое доверие нашло на меня.

И знаете, как это даже странно: сам отдал, и сам думаю: хорошо, что не больше пятисот пропадет.

— Надобно сказать, действительно, вы поступили странно.

— Одним словом, отличился. Но ведь вот есть же такие люди: умеют внушить доверие.

— Не лучше ли сказать: есть же такие люди, которых так легко обманывать.

— Как не быть. И остался в уверенности, что отдаст она им. То есть, как вам сказать? — не в полной уверенности, но все-таки ждал письма от своего сослуживца, что, дескать, благодарю, дружище, и с признательностью возвращаю тебе пятьсот рублей, израсходованные тобою. Сам понимаю, что смешно это, а жду. Ждал с месяц.

— Прекрасно.

— Да-с, ждал месяц. Но, однако, чувствовал, что глупо, потому совестился и ему писать и вот больше года молчал передо всеми.

— Напрасно, вот вы рассказали, то каждый из нас поддержит вас: не теряйте надежды, продолжайте ждать.

— Нет, господа, теперь не жду, потому что полу­чил.

— Получили?

— Да-с, а то стал бы рассказывать! Значит, все- таки не такое же глупое ослепление было мое доверие к этой старухе. Но, натурально, совсем не то. Какую ж Она удрала штуку, — замысловато. Совсем не то, что мне казалось. Умная женщина.

Через полгода после этого, или и раньше, мой Гусев, старик-то, пишет мне, что благодарит меня за мои хлопоты, потому что они все-таки остались небесполезны, хоть я сам и не мог найти его сына, — натурально, я ему написал, что не нашел, — хоть отчасти и прилгнул, но и не то что прилгнул, а только утаил — согласитесь, совестно же было написать: «нашел, да упустил». — Итак, говорит, хотя сам ты, дружище, не нашел, но как ты расспрашивал и говорил, то слух дошел до моего сына, и он написал, правда ли, что я прощу его, и по моему ответу возвратился, и имеем теперь милую дочь, за что благодарю и тебя». Вот как. — Возвратились, помирились, — слава богу.

Что ж, еще через полгода или больше, — то есть не дальше, как третьего дня, — получаю я письмо такого содержания: что, говорит, искушение было слишком велико и страшно, и у меня не достало силы характера, но не спешите винить меня: эта женщина устро-

ила так, что мне почти не было возможности отклонить ее предложение.

История вот какого рода, в коротких словах. Совершенно такой же случай, молодые люди повенчались тихонько от родных и ускакали, только разница та, что из богатой-то фамилии она, а у него ни гроша, ни даже дворянства, что еще важнее, потому что те очень гордые, и так и не простили дочь до сих пор, и даже стараются делать неприятности. Он думал найти что-нибудь в Петербурге, — конечно, сразу ничего не найдешь, — продали ее два шелковых платья — двенадцать рублей, — но не это главный ресурс, а когда бежала из дому, в ушах были очень хорошие серьги, — забыла про них, снять, — они тоже помогли, — но все-то рублей двести, не больше. Ну, а сначала-то была надежда, и в театре бывали: «как же, Зина, надобно хоть раз побывать в Опере». Через три месяца из полутораста рублей не осталось ничего, — с 150 рублями приехали, продавши в Москве серьги-то. Стали должать, — раздумье пришло, места нет, будет ли, нет ли, через полгода ли, через год ли, а покуда — 15 рублей жалованья; плохо, знаете. Очень. И вот в эту-то минуту — подвернись я с своим Гусевым, — ведь надобно же прийти в голову такому вздору, что человек говорит: «да вовсе я не Гусев» — а я: «врешь, мне надо Гусева, хоть переродись, да будь Гусев, по-моему».

Что ж теперь старуха? — Теперь начинаются ее штуки. Видит она, что мне вступила дурь в глаза, и пристала к ним: да вы точно ли Рукавишниковы, а не Гусевы? — Те говорят: точно, не Рукавишниковы, но и не Гусевы, а — ну, я не могу сказать вам настоящей-то фамилии.

— Ах, какой же вы! — Когда есть секрет, то нечего было рассказывать; а нет, так почему не сказать фамилию?

— Ну, знаете, все как-то неловко. Нет, уж лучше не скажу, хоть точно, что ничего такого нет. Вот, когда они рассказали ей все, уж и стали говорить, — он-то: «я раскаиваюсь, что поехал в Петербург; вот в такой-то губернии мой товарищ и приятель правитель канцелярии, он бы сейчас доставил мне место». — «Так и поезжайте, батюшка, с богом». — «Да вы сама видите, — он говорит, — с чем мы выедем?» — «Так вы, батюшка, взяли бы у него деньги, было бы вроде займа, объ-

яснили бы после, заплатили бы». — «Что это вы, как это можно! Это подлость!» — «Точно, говорит, подлость, извините меня, батюшка, я женщина необразованная». — Но дня через три, через четыре говорит им: «Признаюсь вам, что для меня это очень обременительно, не получать от вас денег». — Нечего делать, съехали; рады и тому, что согласилась выпустить, поверила их слову, что расплатятся при первой возможности. Она им и квартиру указала, — у своей знакомой, подешевле, и знакомой поручилась за них, — а сама к квартальному, — очень хороший человек, по ее словам (я вчера заехал к ней, посмеяться и в шутку извиниться, что считал ее обманщицею), она с ним знакома, объяснила ему свою штуку и упросила попридержать контрамарку недели две, три, — словом, обработала все, — да и ко мне. Получивши от меня деньги, к ним: «вот вам, говорит, — поезжайте к своему правителю».

«Согласитесь же, милостивый государь, — пишет он мне, — что искушение было слишком сильно, и не осуждайте меня строго. Я взял деньги. Я знал, что они ваши, — как было не догадаться? Хотя она и очень осторожна была, но было же видно, что это ваши деньги, я только обольщал себя успокоением, пустоту которого сам чувствовал, что эти деньги взяты у вас не обманом». Прибавляет, что просит извинения, что и теперь не может возвратить всех, прислал триста рублей — «на остальные двести, говорит, хочу остаться вашим должником, а не чьим-нибудь, чтобы исключительно вам быть обязану до конца; надеюсь, через полгода пришлю и остальные 200 рублей».

Вот удивился-то я, прочитавши! — Не утерпел, поехал к ней: — «Ну, вам бы не в юбке ходить, а быть министром», — я ей сказал, — право: министром быть бы этой старухе, — могла бы, могла бы. — «Да, батюшка, говорит, точно, голь на выдумки хитра. И их-то жаль, и самой-то тяжело: за квартиру — когда с них получишь? А полюбила их, — и мало того, что за квартиру не получаю ничего, — почти что на всем моем содержании жили, — и уж рублей до сотни было моего долгу на них. Что ж мне было, как не схватиться за этот случай? Думаю: удастся — хорошо, не удастся — нет убытку. А оно и удалось». — «Да,— я говорю,— нашли дурака!»

Вот и досадно: ведь дурак, согласитесь?

— Да, странно, что вы поверили ей деньги.

— Да-с, поверил. Так иногда покажется человек. И еще удивительнее, что не ошибся: потому и стал теперь рассказывать, а то молчал.

— Точно, все-таки развязка извиняет вас.

— Да-с, не совсем, однако же, слеп. Коли вижу, что честная женщина, то уже значит, что точно. Так и вышло, против всякой надежды, и вышло.

ДУХОВНАЯ СИЛА

**(Из рассказов доктора Беневоленского)**

Дедушка был богатырь: невысокого роста, но очень широкий в плечах, и человек необыкновенного здоровья; он прожил до девяноста семи лет. Ему уже много лет говорили приятели, — староста, целовальник, да Терентий Акимыч, так богатый мужик, — что «пора тебе, отец Еремей, отдохнуть; уж внука-то невеста, отдай место за ней». Но он все бодрился, лет пятьдесят отправлял должность. Однако, старость взяла свое; поехал в Рязань просить, чтобы посвятили мужа одной из его внук, дьякона, во священники на его место. Посвятили. Но этот новый священник сам был уже человек в летах, — я думаю, ему под пятьдесят; иной раз и нездоровится, приход верст на двадцать, — дедушка часто ездил за внука отправлять требы, особенно в ненастье. Сколько ж лет было ему самому, когда внука была немолодая женщина? Должно быть, что под восемьдесят или за восемьдесят.

Вот однажды приехали звать совершать требу в одну из дальних деревень, и поехал дедушка. Дело было уж к вечеру, дедушка не рассудил ехать назад; лучше переночевать в той деревне. Остался. Сошлись мужики, сидят, калякают. Только дедушка замечает, что мужики невеселы. — Что на вас, будто уныние, братцы? — Те говорят: как же не уныние? До такого страму дожили, что и сказать нельзя. Играли вечор наши парни, — боролись, дрались на кулачки, — а на грех, поутру-то приди к нам иностранцы, бурлаки с Волги...

Надобно вам сказать, что у нас в Рязани людей из других мест, прохожих, звали иностранцами; особенно это были бурлаки. — Так говорят: приди к нам иностранцы, да и загуляли у нас, на прощание, между собою: из нашей деревни, слышь ты, врозь идти им.

Вот, загулявши и оставшись-то ночевать, вышли они к нашим парням на игру, и один из них, из этих иностранцев, всех наших парней поборол; и из тех борцов, из старинных, которые уж бросили эту забаву, выходили на него, всех поборол.

— И Никиту Филиппыча поборол?

— Какое тебе Никиту Филиппыча, Илья Захарыч выходил, и того смял, не попахло.

— Ну, Илья Захарыч будто выходил?

— Выходил, потому что нельзя: хотелось с деревни страм снять.

— Ну это, братцы, точно, значит силен.

— Вот какой страм, батюшка. По всей дороге пойдут, будут говорить, разнесут; положат стыд на нас.

— Точно, братцы вы мои, не хорошее дело, что иностранец наши места острамит. Разве что мне не заступиться ли за вас, своих детей духовных? Ведь и мне стыд с вами.

— Известно, батюшка, как же и тебе не быть огорчительну такому стыду на твоих детей духовных.

— Ой, пойду, ребята.

— Вот, батюшка, выручишь: сними ты охулку с наших мест.

— А сниму же, ребята; отвык я только, а сила еще есть.

Пошли за иностранцем; познакомился с ним дедушка, вечер просидели в беседе, выпили тоже. Уговорились бороться.

Сошлись поутру. Вся деревня стоит в страхе, что-то будет, снимет ли отец Еремей с деревни стыд.

Взялись за кушаки. Как взялись, рванул иностранец дедушку, — не поднял, — а дедушка иностранца рванул, — да по отвычке-то, не словчился, что ли...

Вы знаете, как борются в наших местах: берутся за кушаки, и стараются поднять друг друга с земли, это делают порывами, и — тот рванет, этот рванет: стоит только оторвать противника от земли, или хоть немножко приподнять, и уж тем самым порывом он будет свален на землю.

Так по отвычке, что ли, не словчился дедушка, или уж ослабели руки от старости, — только не удержал он иностранцева кушака в руках: как рванул его на себя кверху, — да и перебросил его, совсем, через себя, — и не удержал за кушак:, иностранец, взлетевши

через дедушку, хлопнулся о землю саженях в двух позади его, — через полчаса и умер, так разбился.

Однако дедушка успел исповедовать его.

— Ну, что же с дедушкою?

— Жалел; да мужики, говорит, виноваты: уж очень большое понятие дали мне об его силе; да нет, говорит, больше я сам виноват: точно, он очень сильно рванул, да и мужчина-то был громадный, — так я и не сообразил, что надо бы мне с умеренностью, а хватил во всю силу. — Да вы не про это спрашивали, а про то, что ж было с дедушкою? Эх, вы! Чему ж быть-то? Дело было полюбовное.

Да, дедушка был очень силен, и хорошо умел бороться, и был хороший кулачный боец; в другом курсе, может быть, славился бы и первым бойцом: но тот курс, в котором он учился, был особенный, протодьяконский.

Приехал, видите, в Рязань новый архиерей, ученый. Тотчас же сделал распоряжение: вызвать учиться всех, которые не были отданы отцами в ученье, а оставлены при себе. Вот и свезли в Рязань этот народец из деревень: парни лет по 18, по 20, и больше. Жили при отцах, пахали землю, грамоте не учились. А все-таки, и дьячки жили несколько получше мужиков; по крайней мере, в хлебе-то уж не нуждались. Так можете представить, какие это люди выросли, на пашне-то да на привольной пище: страшно смотреть, стену плечом своротит. Составили из них особый класс, не с мальчиками же их учить, хоть начинать надо тоже с азбуки. И место нашли этому классу: сарай, огромнейший. Начали учиться. Через месяц учитель приходит к ректору, говорит: «Не могу, ваше высокопреподобие, силы мои слабы, назначьте покрепче меня. Не пробью их так, чтобы чувствовали». — «Да ты что ж их рукою бьешь? Ты палкою». — «Я и то палкою, ваше высокопреподобие: не чувствительно им». — Ректор увидел, точно: сеченье ведь не на всякую ж минуту, оно идет в две, в три скамьи без перерыву; но одними розгами никак нельзя обойтись, это длинная материя, а нужна учительская рука кроме того. Назначил другого учителя, поздоровее. Через неделю и этот пришел, тоже говорит: «и я не в силах приносить им должной пользы, слаб». — Ну, тут ректор да и сам архиерей задумались, кого выбрать: нет в виду более способного учителя: первые два

были люди здоровые, особенно второй-то. — «Да может быть, — говорят ему, — ты только предлог такой берешь, а отказываешься потому, что не буйствуют ли они, так ты так и скажи». — «Нет, ваше преосвященство, юноши благонравные и покорные, ослушания нет с их стороны, а что действительно мои силы слабы по их крепости». — «Так одно средство, — говорит архиерей: — назначу учителем протодьякона». Ну, протодьякон мог отправлять учительскую обязанность. Завел себе толстую дубину, и ничего, чувствуют. Значит, ученье пошло своим порядком, так и отдается по всему двору, как дубина стучит.

Это ничего, бока здоровые, да и порядок ученья требует; но вот какое обстоятельство: ведь они числятся в первом классе; стало быть, и содержание отпускалось им по первому классу. А даже и девятилетние мальчики выходили из-за обеда не сытые; какова ж была эта порция двадцатилетним парням, здоровенным мужикам, которые у себя по деревням чуть не по полпуду в сутки уписывали? — Что им делать? Воровали съестное, из лавочек, с рынка; но все по мелочи, только больше голодали, подзадоривши аппетит. Смотрели, смотрели, и устроили дело так: отправляются в мясные ряды на рынок партиями, человек по семи, по восьми; окружат стол; один торгуется с мясником, покупает кусок фунта в три, другие тут юлят, а тут один из-за них схватит кусок побольше, да и уходит поскорее, пока товарищи развлекают мясника; если мясник заметит, хочет погнаться, они задерживают его, уронят, или побегут с ним вместе, будто тоже ловить вора, а сами мешают другим поймать его.

Это у них было заведено по очереди: ныне мне стащить, завтра тебе, послезавтра ему. Вот дошла очередь до Кистровского. Да, я еще и не говорил вам, кто был Кистровский? — Вот он-то самый и был тот, при котором ни дедушка, ни кто другой не мог заслужить в семинарии славу богатырскую. Протодьякон говорил: всех могу учить, но для Кистровского где ж можно найти учителя? Кроток и послушен и смирен духом, только потому и могу учить его.

И точно, этот Кистровский делал подвиги, какими, по преданию, должна быть доказана богатырская сила. Другие только подкову ломали, а он сломанные половинки опять ломал пополам. Запрягут в телегу пару

лошадей, сядут двое, погоняют в два кнута, по бокам тоже станут двое, погоняют в два кнута, — а Кистровский держит за заднее колесо — и не то что только удерживает, даже оттягивает назад.

Впрочем, это обыкновенно рассказывается о всяком знаменитом бойце, и почти ко всем напрасно; может быть, и Кистровский вовсе не был так здоров, чтобы пересилить пару лошадей. В сторону эту присказку о нем, а вот что в самом деле было с ним.

Пришла ему очередь быть промыслителем. Товарищи торгуются, а он идет мимо, высматривает, какой кусок поближе да побольше, — прошел раза, прошел два, — смотрит, глаза разгораются, — и не утерпел, разгорелись глаза: подле прилавка стояли на полу у столбов стяги, — он схватил один, да и бежать.

— С целым стягом?

— Я сказал. Мясник взвыл, все мясники ахнули, погнались все; нагоняют Кистровского: [с] быком на плечах не очень шибко побежишь, будь хоть Кистровский, — видит он, дело плохо; не убежит. Он с горя остановился, да как поддерживал стяг на плече руками за задние ноги, смахнул с плеча его да и начал им помахивать; помахивает, а сам уходит. Так и отбился.

— Да этого быть не может! Как же махать целым стягом, в котором пудов семь, восемь?

— По-вашему «не может быть», — и по-моему тоже. Но так было. Значит, поздно говорить, что не может быть.

Это приключение прославило Кистровского, потому он и не перешел во второй класс из первого. Отец ректор велел отдать стяг назад, а Кистровского пороть. Поронье пороньем, а слава славою, и месяца через два пришло к архиерею письмо от Алексея Орлова. Архиерей призвал Кистровского сам лично объявить ему: «отправляться тебе, Кистровский, в Тулу: его сиятельство, граф Алексей Федорович Орлов просит меня прислать тебя к нему, померяться с бойцом, которого он вывез из Москвы. Мужайся, сыне, паче же укрепляйся надеждою на господа. Бог тебя благословит. Будь кроток и смирен духом, и пошлется тебе счастие от всевышнего через его сиятельство, если будешь добрыми нравами и преданностью к его графской светлости достоин того». Благословил Кистровского и отпустил.

Приехал Кистровский в Тулу, представили его графу. Граф назначил три дня на отдых ему, — то есть на питье с его соперником и другими своими бойцами, которые не выдержали против московского нового; а на четвертый день — битва.

Вышли московский и Кистровский. По обряду, перед боем надобно испробовать силу, дать по разу друг другу. Бросили жребий. Выпало: начинать московскому бойцу. Кистровский стал. Московский боец развернулся — и дал Кистровскому в грудь, — Кистровский упал; но через минуту поднялся на ноги. Подали штоф вина, чтобы ему оправиться. Он кряхтел сильно, — выпил; ничего, боль отошла. Стал московский боец. Кистровский говорит: «нагнись, в грудь не хочу бить», — московский боец немного принагнулея, подставил спину, — как хватит Кистровский, спина хрустнула. Перешиб пополам спинной хребет. Только.

— Ну?

— Тоже, как и дедушка, не рассчитал силу. Не по умыслу.

— Ах, не то! Что ж?

— А! Что остался ли жив-то московский боец? Ну да как же можно? Натурально, если удар перешиб спинной хребет, то и пяти минут не продышал. Только успели поцеловаться с Кистровским: «прости, брат».

— Ну?

— Да чего ж вам еще? Остался при графе Кистровский, будто непонятно. Не люблю бестолковых.

ВЛЮБЛЕННЫЙ

— Да, если вы уже спрашиваете, Федор Николаевич, то я должен сказать вам: о вас говорят очень странно. И все.

— И без всякого сомнения, прибавляют, выставляют в дурном и бог знает каком виде. Я затем и приехал к вам, чтобы рассказать, как было. Был уж у троих: у Захара Родионыча, у Спиридона Иваныча, у Олимпия Яковлевича, и от Олимпия Яковлевича к вам, от вас поеду <к> Василью Филипповичу. Всех прошу спорить против глупых преувеличений и распространять историю так, как она была.

— Извольте, с удовольствием. Как же она была?

— А очень просто. Приезжаю к мадам Решеткиной. Нахожу все семейство в саду: пьют чай. Несколько гостей; в том числе барышня, очень недурна собою, — милая. После чаю разошлись по саду. Я с нею. Ходим, разговариваем.

— Да кто ж барышня?

— Ах, боже мой, Хáритова[[3]](#endnote-2). Кто ж, как не Харитова?

— Так. Теперь начинаю понимать. Вы тут в первый: раз видели ее?

— В первый. Она мне очень понравилась, с первого взгляда. Потом — совершенно очаровала. Она тоже слышала, кто я и что, как. Я влюбился. И тотчас же подумал: почему ж мы с нею не партия? За нею душ сорок, у меня 800 рублей жалованья, и тоже дворянин. Согласитесь, партия?

— Против этого никто не говорит, сколько я слышал.

— Словом сказать, я объяснился, видя по ее словам, как она принимала мои любезности, что я также не противен ей. Она отвечает: «мы так мало знаем друг друга». Но какое ж это возражение? Слава богу, мы не в Петербурге или в Москве. Все в городе знают всех по слухам. Пьяница ли я? Картежник ли? Первый ли месяц я живу в городе? Что обо мне спрашивать, или мне о ком? Когда понравились друг другу, что ж тут? Правда ли?

— Это ваша правда.

— Я и отвечал ей в этом смысле: «Конечно, я только ныне имел счастие увидеть вас; но смею думать, что это не препятствие блаженству моего сердца: зачем вы стали бы мучить его сомнением? Успокойте меня или погубите одним словом. Противен ли я вам?» — Она говорит: «Нет, — я думаю, что покраснела, — но уж в это время смерклось, — нет, вы нисколько не противен мне». — «Итак, вы позволяете мне говорить с вашею матушкою?» — «Да, можете». Даже позволила мне поцеловать ее руку. Если бы не были в пяти шагах от нас молодой Решеткин с кем-то еще, может быть, и поцеловались бы. Так еще с четверть часа мы ходили по саду. Потом она собралась домой. «Завтра ваша матушка решит мое счастье». — «И мое», — она прибавила, прощаясь.

Вот, хорошо-с. На другой день, в одиннадцать часов приезжаю я к ним. Вхожу, мать сидит в гостиной

с инспекторшею. Пьют чай. Я отрекомендовался. Она приняла очень ласково. Посидели; я жду, когда инспекторша уйдет. Ушла. Мы еще несколько минут поговорили, — о моей службе, о знакомых — нельзя же так вдруг начинать; но, поговоривши, я перехожу к делу: «Позвольте мне, Василиса Семеновна, прямо объяснить вам цель моего посещения». — Она и приготовилась слушать. Я повторил ей обстоятельнее о своем положении, говорю, что моя хорошая репутация должна быть известна вам. — «Да, говорит, я ничего, кроме хорошего, не слышала о вас». — «Поэтому, — я говорю, — имею смелость просить вас осчастливить меня согласием на брак с вашею дочерью». — Она подумала с минуту и говорит; «Вы знаете, Егор Данилыч, что в нынешнем свете родители не должны присвоивать себе такую власть, чтобы располагать рукою дочери без ее согласия. Потому прошу вас, пожалуйте за ответом завтра». — Я отвечаю; «если в вас я нахожу согласие на мое пламеннейшее желание быть покорным и почтительным вашим сыном, то я просил бы не отлагать вашего ответа». — «Стало быть, вы имеете согласие моей дочери?» — Я говорю: «я не имею ее согласия, Василиса Семеновна, сказать это было бы слишком много; но мне кажется, что я могу надеяться, что я не буду противен ей». — «Ах, молодые люди нынешнего света! — отвечает Василиса Семеновна, — вижу, что и вы поступили по нынешнему обычаю: сначала жених получил согласие невесты, потом приехал просить согласия матери. Если так, то не остается мне ничего, как сказать, что я одобряю выбор моей дочери, и очень рада иметь вас моим сыном. Пойдемте к невесте, жених». Встала, и я встал, иду за нею; у них четыре комнаты на улицу: зал, за залом гостиная, за гостиною еще комната, а за этою комнатою чайная или диванная, — входим мы с нею в эту диванную, там сидят все три дочери: одна за столом, смотрит шитье, две другие на другом диване, говорят, — я к этому дивану, — подхожу и беру за руку Софию Зиновьевну, — а Василиса Семеновна впереди меня вошла, идет к столу и, подошедши, обернулась, будто я должен быть подле нее, — обернулась и, увидавши меня, что я взял за руку Софию Зиновьевну, говорит с удивлением: «Как, вы Софью? А <я> говорила вовсе не о Софье, а об Марье». — «Нет, — я

говорю, — Василиса Семеновна, я, говоря с вами, имел в мыслях моих Софию Зиновьевну и полагал так, что это вам известно, если вы не спрашиваете». — «Ах, батюшка мой, чего же было мне спрашивать? Кто ж выдает среднюю дочь прежде старшей? И особенно, когда жених не упоминает, то кого же может иметь в виду мать как невесту, если не старшую дочь?» — Вы понимаете, какое неожиданное расстройство для всех! И я растерялся, и она, и Софья Зиновьевна, и те обе дочери. — Но первый я оправился: «Из этого я понимаю, что вы, Софья Зиновьевна, не предупредили вашу матушку». — Она покраснела, бедная, говорит: «Нет». — «Это точно, как же ты не предупредила меня, Софья? Тогда бы не вышло этого конфуза». Она заплакала. — «Маменька, простите меня; я не успела: вечером не хотела вас беспокоить, и не посмела, потому что вы уж легли почивать, когда мы с братом приехали от Решеткиных, а поутру, когда я встала, вы уж уехали на рынок». — «Успокойся, мой друг, Соничка, — мать успокоивает ее, — вижу, что ты не так виновата». — Видите, объяснилось теперь: с рынка она прямо проехала к обедне, сама слезла, а кучеру велела отвезти домой провизию; а от обедни привела с собою инспекторшу, — и от этих случайностей дочь не успела объясниться с нею о нашем вчерашнем разговоре. Кого винить, хотя случай вышел очень неприятный, — не правда ли, некого?

— Некого, это правда.

— «Позвольте же просить вас, — говорит она, — возвратимся объясниться нам с вами». Ушли мы с нею опять в гостиную. «Я должна вам сказать, что ни под каким видом не могу согласиться выдать среднюю дочь прежде старшей. Это не в законе. И вы знаете материнское сердце: дети, как пальцы, которого ни коснись поранить, одинаково больно. Как я решусь обидеть мою Машу? Никогда не соглашусь». Я стал настаивать, что влюблен в Софию Зиновьевну, и говорил очень хорошо, с большим чувством. Она совершенно вошла в эти мысли и говорит: «против этого всего я ни слова не могу возразить, совершенно понимаю ваши чувства и уважаю их. Но правилу моему изменить не могу, не могу старшую дочь обидеть». Бились, бились мы с нею, но тем и кончился наш разговор, что она говорит:

«Я не вижу никаких других средств, кроме как два: или вы должны ждать, пока пошлет бог жениха Маше, или перемените вы ваш выбор». — Я тоже понимаю и ее затруднение, но и мне нельзя вдруг решиться: как же, нельзя в две минуты решиться на такую перемену, особенно когда чувствовал себя влюбленным. Говорю: «позвольте мне подумать об этом, Василиса Семеновна». — «Подумайте, батюшка». Я взял срок себе до вечера. Стал думать. Марья Зиновьевна показалась мне больше в моем вкусе: у Софьи Зиновьевны серые глаза, а у Марьи Зиновьевны — голубые, голубые лучше. У Софьи Зиновьевны меньше румянца, и все не так пышно, как у Марьи Зиновьевны. Потому что, оправившись от первого моего расстройства, я мог рассмотреть ее. Но мало. На том и остановился: нравится; но мало рассмотрел. Приезжаю после обеда, говорю: «Позвольте мне видеть Марью Зиновьевну, чтобы прежде мог я убедиться, что не буду противен ей». — Та говорит: совершенно так, против воли не станет отдавать дочь, и надобно, чтобы девушка знала, за кого ее отдают. Вызвала Марью Зиновьевну. Так мы втроем сидим, но чем больше я гляжу на Марью Зиновьевну, тем больше она мне нравится, и потому я, видя, что напрасно было бы продолжать длить мое затруднение, говорю ей: Марья Зиновьевна, прошу вас осчастливить меня вашим согласием. Она согласна. Только, больше ничего не было. Верите ли вы мне, как благородному человеку?

— Совершенно; тем больше, что и в городе рассказывают совершенно так. Только одно: незнающие говорят, что вы прежде того видели Харитовых в театре.

— Никогда. В первый раз у Решеткиной, и одну Софью Зиновьевну, как я вам говорил.

— Впрочем, эта разница и не важная, видели ль вы их в театре раз или два.

— Нет, позвольте: тогда я имел бы время рассмотреть прежде и сравнить, и моя перемена показывала бы во мне неосновательность.

— Да, это правда.

— Потому-то я и прошу вас, объясняйте всем вашим знакомым, как именно было.

— С удовольствием.

**НА ПРАВОМ БОКУ**

Алексей Флегонтович очень важный вельможа, сударь: один из первых у нас в губернии; прежде, сударь, ничего особенного не замечалось в нем: жил, как все холостые господа. И в Курск ездил; на выборы всегда, и в другие времена приезжал, по зимам. В карты играл; и по большой. Шампанское пил; обеды давал. Все, как следует хорошему барину. Метрески тоже были, по нескольку: занимался и этим. И как он был характера мягкого, то метрески большую волю имели над ним; однако же, в границах приличия: неприличного ничего не замечалось.

И вдруг, сударь мой, приехала в Курск представлять московская актерка Мичманова. И надобно ж было на грех ехать ей из Курска в Харьков, — ну, тут дорога лежит через Алексей Флегонтовичево поместье. С нею провожатый был, тоже помещик, но из мелких, — последние деньги прокучивал, продавши именье, — потом сам в актеры пошел: имел эту страсть. Ехали они, сударь, не спеша, и завез ее этот провожатый в гости к Алексею Флегонтовичу. Было дело к вечеру; ужинали это, развлекались, и очень она приглянулась Алексею Флегонтовичу. Было ли тут между ними что, или нет, не умею доложить вам, а только что она говорит на его приглашение, что теперь, говорит, не могу принять вашего гостеприимства, потому что ждут меня в Харькове, я же своему слову никогда не изменщица, и тем больше, как тоже имею свои обязанности в Московском театре, от которого не желаю отказаться. Но на обратном пути из Харькова, если буду иметь свободное время, то заеду к вам, чего, впрочем, не надейтесь наверное.

Это она говорит ему, два дня прогостивши, и собирается ехать.

— Да я, говорит, не нравлюсь вам, Зинаида? (Ее звали Зинаидою.)

— Чем же, говорит, тебе мне не нравиться? Человек ты добрый, ко мне привязался, будешь угождать; летами ты еще совсем не из стариков (и точно, ему тогда еще далеко не было до сорока лет), лицом ты красивый (это точно, красив был). Толстоват немного, один недостаток, да это у всех у вас: живете по деревням, жиреете. А только, Алексей, при мне других чтоб

уж не было: я на это взыскательна. А так, ты мне нравишься. Полагаю, что заеду, только верного слова не даю: не знаю, будет ли время. — И уехала.

Ждет он ее, сударь, с таким мучением, как бы мальчишка какой. Каждую почту письма ей пишет, умоляет: «полная ты у меня госпожа будешь, и Парашу я уж пристроил», — если перед вами, сударь, греха не скрывать, то за меня и пристроил-то. Впрочем, я не могу этого назвать стыдом себе. Видел, не зазнаётся, бывши полубарынею, так уж наверное, что хорошая девушка. И надобно сказать, что имела расположение ко мне; говорила: если бы, говорит, бог устроил, чтоб Алексей Флегонтович потерял свою любовь ко мне, вышла бы я за тебя, когда бы ты не побрезговал. — А что ж, сударь, брезговать-то? Где не таких-то найдешь, в нашем звании? Наше звание точно такое же в этом деле, как и господское. Это у купцов, у мещан, у мужиков во многих местах, точно, есть другое обыкновение держать себя в девицах. А в нашем звании где ж этого требовать?

— Вы, Иван Прокопьич, не были ли волокитою смолоду, что так отзываетесь?

— Не был, сударь; хотя, конечно, не без греха провел молодость, но мало могу сказать про себя дурного с этой стороны. А рассуждаю так по рассудку и потому, как всякому известно, что в нашем звании соблазн велик для девушки; часто и принуждение бывает. А что исключения, точно, бывают, и даже не мало, как и в господском звании, это я всегда скажу. Но только я то хотел сказать, чтобы, как вам это объяснить, — себя перед вами оправдать.

— Понимаю, Иван Прокопьич.

— Потому что она скромно себя держала. И когда увидела, что Алексей Флегонтыч стал мало ей заниматься, она даже была рада этому, потому что, как вам <сказал>, получила надежду и в это время мне и открылась, что я ваше внимание ко мне замечаю, Иван Прокопьич. Тогда я такую смелость взял, что упал в ноги Алексею Флегонтычу и говорю, что при всей моей к вам привязанности, должен я вашу службу оставить.

— А вы у него по найму служили камердинером-то?

— Как же, сударь, я из мещан. — «Почему ж это?» — он говорит. — «Потому это, — я говорю,— что

сердце мое не может терпеть, имею я несчастие, что Прасковья Ивановна не может собою располагать». — А он засмеялся: «отбил ты, говорит, ее?» — «Нет, — я говорю, — как же бы я стал к ней с такими словами обращаться, и она бы стала ли вас обманывать?» — «А это, говорит, ты, братец, правду говоришь». Такой у него характер был легкий и мягкий, и хотя метрески большую власть имели над ним по этому самому, но как он был очень непостоянен, то не имел к ним привязанности, — или, как бы вам это сказать, та ли, другая ли, ему все равно, лишь бы женщина была. И это даже редкое время было, что тогда одна у него была.

Вот, сударь, таким образом, повенчавши нас c Прасковьею Ивановною, пишет он это Мичмановой, что, говорит, такою я страстью к вам проникся, что даже никакого женского лица видеть не могу, кроме вашего, и буду несчастнейший человек. Но как от нее ответы всё такие же, что то ли буду, то ли нет, то он даже такое нетерпение получил, что говорит мне: собирайся, в Харьков едем. Поехали, и уговорил он ее, не только в гости к нему приехать, а даже в отставку выйти с Московского театра, и поселилась она у нас навсегда. Стали хорошо жить, и это долгое время было, года четыре. Но только, чем же это кончилось? — Вот тем самым, что вы изволите видеть. И вот как это вышло. Ушла она поутру гулять, — через час присылает девушку сказать, чтобы не ждал к обеду: я, говорит, у соседей останусь, — тут, в двух верстах, небогатые люди живут, она с ними водила знакомство. Пообедал он один и лег почивать после обеда. Просыпается он и кушает чай в постеле, потому что это он, точно, всегда любил лежать, — и в это самое время приносит ему письмо та же самая соседская девушка, которая была поутру. Что ж ему пишет эта Мичманова? — потому что письмо от нее было: «Хотя ты и добрый человек, Алеша, и жалко мне бросать тебя, говорит, но скука меня одолела, и по театре давно скучаю и по Москве с Петербургом». — Ну, точно, что она женщина молодая и бойкая, живая, как же не скучно? — «И вот тебе, говорит, выбор, Алеша: если ты за мною не поедешь, уговаривать меня возвратиться, то может быть, что я и возвращусь; если же поедешь, то на веки веков ссора будет. Поэтому, друг мой Алеша, советую я тебе,, чтобы ты приказал Параше», — то есть моей жене, сударь, ко-

торая горничною у ней была, или больше, так сказать, смотрела за другою прислугою, — «прикажи ты ей собрать мои вещи, да и пришли мне их с Иваном Прокофьевичем», — со мною, — «в Курск, в который я уехала». Вот тебе раз, сударь! — Прочитавши это, кликнул он меня, — глаза у него заплаканные: — «Вот что, говорит, вышло, Иван Прокофьич; распорядитесь вы с женою, как она пишет». Пошел я сказать Параше собирать ее вещи. Провозились над этим вечер. В десять часов прихожу к нему укладывать его спать, — а он, сударь, как тогда лежал, так и лежит: «ничего не нужно, говорит, я не вставал». — Поутру пришел одевать его, — то же самое: «ничего, говорит, не нужно; я так останусь». Так, сударь, и пролежал до обеда, а мы с женою ее вещи укладывали, — и самому мне тоже все-таки сборы в дорогу были же, хоть и небольшие. Пришел я к нему, — «пожалуйте обедать», — зову. — «Нет, говорит, сюда к постеле давай; что вставать-то?» — Так и поел, лежа. Пообедавши сам, прихожу к нему, говорю: «все собрано, Алексей Флегонтович», — потому что он простой и обходительный, давно мне сказал: что, говорит, «барин» да «барин», надоест одно и то же, зови по имени, — так я и звал его по имени-отчеству, — «все собрано, — говорю. — Ехать прикажете?» — «Ступай», — говорит. — «Что от вас прикажете сказать Зинаиде Петровне?» — «Скажи, как ты меня оставил, и что буду я лежать, пока она воротится».

С тем я уехал; через неделю возвратился: и точно, лежачего застал. А она посмеялась: «пусть полежит, говорит, — соскучится. А от меня ему скажи, что, может, и ворочусь, а скорее, что нет». — «Ну, что, говорит, она с тобою какое решение прислала мне?» — Вот какое, говорю. — Он вздохнул, сунул руку под подушку: «Хорошо; спасибо, Иван Прокофьич, что съездил; ступай, ничего больше не нужно». — «Встали бы, Алексей Флегонтыч», — потому что жена мне сказала, что не вставал все время, — «пройтись бы изволили». — «Ступай, Иван Прокофьич, что об этом говорить». — Так я и ушел. Так и пошло с тех пор.

— Неужели так с тех пор и лежит?

— Как изволите видеть. Пятнадцатый год лежит. Ни разу, сударь, ни на пять хоть бы минут не вставал. Как перед богом, истинная правда.

— Это удивительно.

— Так удивительно, что и сказать нельзя. Мы даже думали с женою, — тогда, вначале, через год, этак, не поджечь ли бы дом? — пропадай он прахом! — может, что, поднявшись, на другой постеле в другом доме не залег бы так. Да посоветовались с исправником, он отсоветовал: что следствие подымется, и беды себе наживете наверное: вся губерния умысел этот поймет: «подожгли нарочно, чтобы поднять», — все так гулом загудят; как будет скрыть? — себе зло сделаете} «а ему сделаете ли пользу, кто знает? — подымется ли, опять ли так и на новом месте заляжет. — И что всего удивительнее, сударь: губернатор по губернии ездил, к нему заезжал: даже для такого гостя не встал: «Извините, говорит, ваше превосходительство, не примите этого за невежливость, потому что не могу, зарок такой дал». И не обиделся губернатор; уговаривал его, что подымитесь. И губернатор не мог убедить. Тогда уж все увидели, что напрасно идти против этого.

И хотя бы, сударь, отдых себе делал побольше: на спине бы день пролежал, другой на левом <боку>, — а то всё, как видели, на правом. Как тогда это письмо прочитал на правом боку, так и лежит.

Я просидел с Алексеем Флегонтовичем несколько вечеров, живши то лето по соседству. Мы играли в пикет; он теперь следил за литературою: до своего лежания он был круглый невежда; но от скуки принужден был приняться за книги, и когда я познакомился с ним, он был человек порядочно начитанный.

Но все-таки я не знаю, может ли здоровье выдержать пятнадцать лет лежанья на боку? Не вставал ли он по ночам, хоть иногда, хоть на час, на два, чтобы сколько-нибудь промяться?

Иван Прокофьевич положительно был уверен, что нет, не вставал ни раза.

ПОКРАЖА

— Мы пришли к вашему преосвященству с покорнейшею просьбою.

— Прошу садиться, и посмотрим, в чем она.

Братья сели. Оба были уж пожилые люди, купцы второй гильдии; один был ратманом.

— С просьбою об отце. Вашему преосвященству неизвестно, быть может, что он держит себя совершенно не по своим летам. Стыдно говорить, а необходимо. Она интригантка и женщина очень дурная. Он совершенно в ее руках, и теперь она велит ему жениться на ней. Мы имеем теперь свои капиталы. Но от второго брата его у нас есть две сестры и брат. Брату 20 лет, сестры невесты. Она отнимет у них все, если ей удастся повенчаться с ним.

— Но он так дряхл, говорят.

— Более, чем дряхл, ваше преосвященство. Разбит параличом. Не может сделать двух шагов, даже если опираться будет. Водим его под руки, с обеих сторон надо держать.

— Так чего же вы опасаетесь?

— Она его так и обведет вокруг налоя, двое таскать будут.

— Что же я могу сделать? Я скажу священникам, что запрещаю венчать его. Но никто из здешних священников не стал бы венчать и без моего запрещения. Вы знаете, они все люди добросовестные. Чему ж это поможет, однако? — Вы знаете, есть два таких благодетеля: один на Увеке, другой в Курдюме. Такие ли браки венчают? — Оба под судом; но они этого не боятся. А за вашего батюшку нельзя будет и предать суду: он в здравом уме, законных препятствий нет. Все, что могу, сделаю; но мое запрещение бессильно над такими людьми.

Купцы поехали к губернатору. Губернатор также сказал, что прикажет полиции внимательно смотреть за вдовою чиновницею Балдуиновою; — но что — что ж может сделать с нею полиция? — Если бы вдова подала малейший предлог, он обещает им скрутить ее по рукам и по ногам, но что, наверное, она будет держать себя так осторожно, что нельзя будет придраться к ней.

— Поэтому и я должен прибавить вам: я плохая защита вам, господа.

— Мы будем просить ваше превосходительство о следующем: мы будем караулить старика; не примите этого в дурную сторону.

— Помилуйте, я знаю вас. Не приму от нее никаких жалоб; если она будет посылать ябеды в Петербург, я объясню дело. Я не могу сомневаться, что вы будете соблюдать все уважение к старику.

— Мы боимся ее умысла не только за состояние отцовское, за самую жизнь его: она, повенчавшись, заставит его подписать завещание в ее пользу, и потом удавит или отравит.

— Очень возможное дело от такой женщины, господа. Я знаю ее. У ней были дела.

Все это была чистая правда, известная всему городу. Дети были хорошие люди. Старик ослабел умом и характером от лет и еще больше от паралича. Эта госпожа Балдуинова была очень смелая и ловкая пожилая баба, страшная интригантка.

Обеспечив себя этими объяснениями с начальством от всяких сплетен и ябед со стороны Балдуиновой, сыновья стали караулить оглупевшего параличного. Его возили кататься по городу и за город каждый день, но с конвоем: выбрали надежного кучера, сажали в провожатые надежного приказчика, если не провожали сами. В комнату к старику не впускали подозрительных людей. Купеческие домы и вообще стояли тогда с затворенными воротами, — а подъезды у домов тогдашней нашей провинциальной постройки всегда были со двора, — теперь у ворот и днем, а тем больше ночью, стоял караул. Казалось бы, безопасно.

И все-таки через несколько месяцев город ахнул: старик купец N сочетался браком с г-жою Балдуиновою.

Она украла его.

Ее сообщники выбрали темную ночь, приставили лестницу к окну стариковой комнаты, — он был помещен во втором этаже, — разбили окно известным воровским методом, без звона стекол, — намазав медом или жидким тестом лист бумаги и продавив стекло через эту наклейку, — взяли старика, спустили на простыне по веревкам, — и поскакали в Курдюм.

Они предусмотрели и то, что он не может ходить: в Курдюм было привезено кресло на колесах, и жениха возили на нем вокруг налоя.

Но трагические опасения детей и всего города не сбылись. Молодая удовольствовалась дарственными записями, векселями и не сделала ничего преступного.

Если не ошибаюсь, она через несколько времени даже отдала старика назад детям, взяв с них плату за него, и довольно умеренную, только третью или четвертую долю его состояния.

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА СВИРСКАЯ

— Достаточно для вас этого?

— Да.

— Так слушайте и записывайте.

Он стал рассказывать.

Иван Андреич Свирской был из помещиков самой средней руки. Имел своих душ 50, да за женою взял душ 30. Служил заседателем от дворянства в гражданской палате. Уж года четыре он был женат, и жил с женою так себе, ни дурно, ни хорошо, — больше хорошо, чем не хорошо.

Его мать, женщина еще не старая, довольно светская, неглупая по общему мнению, никогда не была большою охотницею до его жены: Наталья Петровна не была покорною дочерью Прасковье Ивановне. Это не редкость в нынешнем свете. Но вот уже с полгода Прасковья Ивановна присматривала за невесткою особенно зорко и, наконец, приступила к решительному объяснению с сыном:

— Иван, что нашептывает тебе жена? Она напевает тебе что-то недоброе.

Иван Андреич и в этот раз долго отнекивался: он уж отбил много таких приступов. «Нет, матушка, она не говорила мне ничего особенного». — Но теперь у Прасковьи Ивановны были уж довольно определенные подозрения, и сын принужден был сказать:

— Она жалуется на здешний климат; средства наши не позволяют нам думать ни о загранице, ни о каких водах; она и не требует этого, маменька; она просит только, чтоб я не препятствовал ей уехать пожить в нашу деревню.

Прасковья Ивановна не предполагала такой умеренности; она думала, что невестка хочет пофрантить зиму в Москве или в Петербурге, или что-нибудь такое; ответ сына озадачил ее. Молодая женщина хочет забиться в деревню, где нет порядочного соседства, ни балов, ни вечеров, ни танцев верст на сто кругом.

— Это странно, Ваня; какая ж причина? Здоровье только пустой предлог. Она здоровая женщина, — смотри, румянец какой! А грудь какая белая да полная, а руки какие!

Иван Андреич не нашел ничего отвечать. Он конфузился. Он очень знал, какая причина; но как сказать? — Да и сам не знал, верить ли этой причине.

— Она ссылается на здоровье. А впрочем, судите, маменька, как хотите.

— Иван, надобно поговорить с нею хорошенько.

Сыну не хотелось. Еще раза два подобные разговоры кончались так; Прасковья Ивановна сердилась и бранилась, — и однажды молодая женщина потеряла терпение:

— Матушка, мы никогда не были с вами дружны; но все-таки не каждый день была у нас размолвка. Во всем я не могу угождать вам. У меня свой характер. Но вы привыкали было к этому, — а теперь стали придираться ко всякой мелочи, как еще никогда. Скажите прямо, чем вы недовольны? Если можно, то я уступлю, вы знаете.

— Я недовольна тем, Наташа, что ты не имеешь доверия ко мне, не хочешь иметь мать своего мужа твоею матерью; мать должна быть первым другом и советницей дочери.

— Маменька, почему ж вы так думаете? О нарядах я давно не спрашиваюсь вас; нынче совсем не тот вкус, какой был в ваше время. И вы уж не требовали этого в последнее время. О чем же еще? Какие у меня дела? Хозяйство в ваших руках, я не вступаюсь.

— Об нарядах что говорить, Наташа; ты мужа не разоряешь; одеваешься хорошо, всегда отдам тебе справедливость. Есть дела важнее, Наташа. В них совет старших мог бы быть полезен.

Наталья Петровна долго и пристально смотрела на свекровь: догадывается она, или нет? — Смотрела и на мужа: рассказал он, или нет? — Но Иван Андреич, недурной собою, вялый блондин, имел не такое выразительное лицо, чтобы можно было разобрать, что написано на нем: «рассказал и раскаиваюсь» или «хотелось бы устранить этот разговор, да как его устранишь?» — А в глазах Прасковьи Ивановны можно было читать: «знаю, не проведешь». — И в карих глазах Натальи Петровны блеснуло: «Если уже знаешь, то давай говорить».

— Матушка, вы заметили, что у меня идут какие-то объяснения с мужем? Вспомните свою жизнь: мало ли может быть между мужем и женою таких разговоров, о которых никому другому не следует знать? Я гордая, вы знаете. Мне тяжело и с мужем говорить.

— В моей жизни с покойным Андреем Ивановичем, Наташа, не было ничего такого, что я должна была бы скрывать от глаза его матери, которую уважала и любила, как родную мать.

— Мне нечего скрывать, вы это сама знаете; но я вам сказала, есть вещи, о которых тяжело говорить. Ты молчишь, Иван Андреич? Ты хочешь, чтоб я говорила с матушкою?

— Мы уже говорили с ним; остается нам переговорить с тобою, — сказала Прасковья Ивановна.

— Вы говорили с ним? о, как я рада! Зачем же вы, матушка, начали так сурово? Разве вы сомневаетесь в том, что я готова на все? Не я <ли> сама упрашивала его: «решай, как хочешь, выбирай какое хочешь место, для меня все равно, только спаси меня и себя».

— Что, что ты говоришь, Наташа? — с удивлением произнесла Прасковья Ивановна.

— Как, вы не понимаете? вы не знаете? Он не говорил вам?

— Он говорил, что ты требуешь, чтоб он согласился отпустить тебя в деревню, и это показалось мне странно: что делать молодой женщине, одной, в деревне? Одна там умрешь со скуки.

— Только? Он вам не говорил больше? Он не сказал ничего. Спасите вы меня, матушка! Я прощу вам все. Вы — мать, спасите честь вашего сына! Вы сама женщина, пожалейте женщину!

Наталья Петровна бросилась к свекрови, схватила и целовала ее руку.

По лицу Прасковьи Ивановны пробежало опять изумление; потом несколько раз менялось его суровое выражение: сожаление, участие, — уважение, любовь, — подозрение, холодность, вражда боролись в ней, и она не знала, чему верить, на чем остановиться: обманывает ее Наталья Петровна, или нет? Дорожит ли она честью ее сына, или ловко хитрит, чтобы тем свободнее изменять мужу? — Нет, нет, она не хитрит, — участие и уважение все сильнее и постояннее брали верх в уме Прасковьи Ивановны; она поцеловала молодую

женщину, встала с дивана, обнимая ее талью: «Наташа, вижу, что: ты хорошая жена и дочь, — тебе легче будет говорить со мною одной — пойдем ко мне», — она повела ее в свою комнату.

Она подозревала, — была почти уверена, что невестка влюблена, — предполагала уж и интригу, может быть связь; но она думала, что невестка хочет удалиться от глаз мужа и ее, чтобы скрыть связь, — полагала, что, может быть, она уж и условилась с любовником, что он поедет вслед за нею; что, может быть, поездка в деревню даже только начало путешествия вместе с ним куда-нибудь подальше, что она уж условилась бежать с ним. — И — невозможно сомневаться, невестка хочет совершенно не того; правда, она влюбилась; но она сама говорит мужу: «спаси меня от этой страсти, позволь мне удалиться, чтобы не видеть человека, который опасен для твоей и моей чести». Как хотите, это очень хорошо.

— Наташа, ты влюблена, мой друг?

— Нет, матушка. Но то же самое, такая же надобность уехать отсюда. Посмотрите, что бывает на всех балах, — вы не замечали, но я теперь говорю вам, — припомните же, и вы поймете.

Лицо Прасковьи Ивановны опять приняло недовольный, сердитый вид.

— Наташа, о чем ты говоришь?

— Как о чем, разве вы и теперь не понимаете, от кого я должна уехать?

— Нет, Наташа, я не понимаю, что ты говоришь.

— Как не понимать? Но если вы принуждаете, я скажу прямо: для кого был дан бал с иллюминациею, о которой писали во всех газетах? Для кого было устроено это гулянье на двух пароходах в Нееловку? Для кого теперь устраивается благородный спектакль, в котором я буду играть главную роль? Вы не замечаете этого? И не понимаете, к чему это?

— Владимир Борисович действительно оказывает тебе внимание, Наташа; но кто ж может видеть в этом что-нибудь, кроме благородного, кроме такого, что делает честь тебе?

— Честь! А я вам говорю, что из этого выйдет мой позор, бесчестье мужу.

— Полно, полно, Наташа! Что это ты? С чего ты взяла это?

Если бы это было дело не прошлое, надобно было бы оставить в неопределенности звание Владимира Борисовича и другие частные черты обстоятельств. Но, — давно ли, не давно ли было это, — действующие лица не будут претендовать (может быть, и потому, что они вымышлены). Стало быть, можно сказать прямо, что Владимир Борисович был губернатор, еще «молодой человек» по своему месту, — лет 35 или 36, из очень хорошей, даже аристократической фамилии, с огромными связями, и не бедный по петербургской довольно высокой марке, а по-провинциальному — чрезвычайно богатый: тогда считали еще на души, и он имел больше 4000 душ. Он был не очень хорош собою, но далеко не урод; человек холостой и богатый, ловкий, даже довольно блестящий, он имел много побед в своей губернской столице, а еще больше тайных и явных искательниц быть побежденными. Но в молодости он привык быть разборчив; был честолюбив и считал опасным подавать предлоги для скандальной молвы. Поэтому держал себя очень скромно в случаях побед, и в три года губернаторства имел еще только одну формальную фаворитку из благородных, и разошелся с нею уже больше года перед тем временем, как происходил этот разговор.

Он не был красавец в молодости; ему было теперь 35 лет, но при всем том какое ж было сравнение между ним, недурным собою человеком, с отличною светскою выдержкою, и мужем Натальи Петровны, понюхивавшим табак, — и не с безукоризненною опрятностью, порядочно игравшим в вист, недурно говорившим в канцелярском вкусе, потиравшим руки перед тем, как взять рюмку, приступая к закуске? Если б губернатор был гадкий старик, молодые лета Ивана Андреича значили бы что-нибудь. Но он, с своею чиновничьего наружностью, несколько помятою в прежних кутежах, казался годами двумя, тремя старше губернатора, всегда прекрасно причесанного и легкого, грациозного. Иван Андреич был даже полнее его, хоть и не дошел еще до 30 лет.

Или если бы Наталья Петровна любила мужа, хоть и не за что было особенно любить его, — но ведь бывают же и такие случаи, что привязываются люди ни с того, ни с сего, даже и жены к мужьям не лучше Ивана Андреича, — или если б она была женщина идеально строгих понятий, — или если б она имела

любовника, — тогда не было бы ничего удивительного в ее желании удалиться от двора Владимира Борисовича. Но любовника у ней не было ни тогда, ни прежде. Было ли тогда сердце ее совершенно невинно, этого я не знаю, — или, если уж хотите полную правду, она была из тех людей, которые едва ли могут оставаться совершенно чисты сердцем среди гадкого общества: в ней не было ни детской наивности, которую сохраняют очень многие из нас навсегда, ни нежной, деликатной кротости, которая также не допустит дурных чувств в сердце, хотя бы бойкий ум и понимал зло; в ней не было сурового стоицизма, который также не редкость в женщинах. Вижу, что я говорю о ней нехорошо. Она извинит это, потому что знала всегда, что не принадлежит ни одному из тех очень различных разрядов людей, которых я люблю. Она и <не> ждет от меня лестных для нее отзывов. Но я должен сказать, что она держала себя безукоризненно. Не только иметь любовника, — она даже не кокетничала. Это потому, что она была, — и осталась, — очень горда; и тогда она уважала себя; уважает и теперь, но не в том духе.

Или, если бы она хоть уважала мужа, — но за что ж бы стала уважать его женщина очень неглупая, более образованная, чем он, и несравненно более честная? — Честною женщиною я должен назвать ее.

Не любила, — не уважала мужа, — губернатор был гораздо лучше его, и кроме того, губернатор, а не заседатель, — как же она хотела уехать в деревню?

Что сказать об этом? — Вы увидите, как она сама думала об этом.

Думала, — но про себя; не с мужем же было говорить такие вещи, — и не с его матерью. Поэтому разговор с матерью любопытен разве с той стороны, как они обе не сказали друг другу ничего лишнего, хоть и договорились до ссоры.

Нечего рассказывать, чего не могли они высказать друг другу; тайна Прасковьи Ивановны и ее сына была тогда же видна всему городу. Расчет был очень обыкновенный: пусть губернатор волочится за Натальею Петровною; это очень хорошо для службы Ивану Андреичу. Через год будут выборы. Дворяне жили очень хорошо с губернатором. Все тузы, располагавшие голосами, видели в нем своего брата, богатого помещика, и были очень дружны. Он для них делал все; они не могли оби-

деться его просьбою за Ивана Андреича; а просьба будет: «господа, выберите его в председатели гражданской палаты».

Это все так. Но вот что трудно понять: как же он и его мать полагали вести это дело? Смешно думать, но нельзя не думать, что они полагали вести дело на поцелуях ручки. Они рассчитывали на гордую твердость молодой женщины: «она не захочет забегать к нему потихоньку (будто бы) от мужа, вечер с ним, а после вечера опять к мужу, как делала землемерша». В этом они и не ошибались. Но как же они воображали выехать на поцелуях ручки в председатели? Что за невинность такая был Владимир Борисович? Дураком ли они его считали? 15-летним ли мальчишкою считали? — Он был нисколько не похож на такого молодого и глупого теленка.

Этот расчет на силу благонравного кокетничанья нелеп до того, что почти невозможно верить ему. Но вы увидите, что муж и свекровь рассчитывали именно так. Одни слова их ничего не значили бы; но они доказали свою невинность поступками.

— Ты много забираешь себе в голову, Наташа. Владимир Борисович учтивый кавалер; обращает внимание на тебя, как на молодую приятную даму, и больше ничего. Я не отнимаю у тебя ни ума, ни светской приятности, какому же образованному мужчине не бывает приятности в обществе молодых дам? Они должны держать себя так, как требует польза мужа. — Если бы ты, Наташа, когда-нибудь подавала предлог сомневаться в строгости твоих правил, мать мужа твоего не стала бы говорить с тобою такими словами. Но ты не из числа легкомысленных молодых женщин, Наташа; потому я и рассуждаю с тобою по моей житейской опытности, будучи уверена, что из этого не может выйти ничего, кроме хорошего для всех нас.

Они долго спорили: «Я не хочу, чтобы в свете стали называть меня любовницею губернатора», — говорила Наталья Петровна. Прасковья Ивановна возражала, что этого никогда и не будет, что она, ее милая дочь, при своем уме и характере сумеет держать себя ласково с губернатором и однако ж не возбудить злословия.

Злословие! — Наталья Петровна боялась не злословия других, она боялась самой себя. Это самая

любопытная черта дела. Если написать из этой истории роман, то нетрудно изобразить постепенное развитие чувства, возбуждавшего в ней опасение, очень подробно рассказать ее борьбу с самою собой; и при некотором знании человеческого сердца, рассказ был бы, вероятно, довольно близок к действительной истории чувств и мыслей Натальи Петровны. Но это не роман.

— Почему ж это знать?

— Да, между прочим, можно видеть и по объему: не сотни страниц, — значит, не роман; и даже не сотни, не полсотни, — значит, и не повесть.

— Что ж это такое?

— Что бы то ни было, но вы должны полагать, что выдуманный анекдот, которому придается вид действительного случая, для вашего развлечения. Поэтому не буду вдаваться в подробности, о которых не мог бы дать вам отчета, — я должен не прибавлять ничего к письму, которое показал вам.

— Оно важно. Его надобно поместить.

— Поместите. Можете даже сказать и то, что это письмо писано Натальею Петровною к одной <из> прежних подруг, родственник которой отдал вам его с ее согласия.

Письмо

«Ты осуждаешь меня, \*\*\*; и не можешь понять того, что я стану говорить тебе. В тебе нет властолюбия. Ты не можешь извинить меня. Как ты представишь себе привлекательность господства, если оно не привлекает тебя?

Впрочем, это было не одно. Они с каждым днем становились мне более гадки. Ежеминутные попреки, и прямо, и намеками. Рассуждения о том, что мы небогатые люди. Каждое слово направлено все к этому.

Потом они даже стали теснить меня. Ты не поверишь, прислуге было показано, что она угодит им, делая мне неприятности. Если я возвращалась домой, когда они уже пообедали, — я убеждена, что часто они нарочно торопились обедом, — я два часа не могла дождаться, чтобы подали мне. И потом, чтó подавали мне! Кучер, лакей стали со мною грубы до несносности.

Управляющий именьем перестал высылать мне деньги. Буквально говорю тебе, я испытала нужду. Я иногда была голодна. У меня не было денег на перчатки.

Ты осудишь меня, несмотря на это. Но характер мой не я дала себе. Ты перенесла бы. Я не могу.

Могла ли бы ты не презирать их? Могла ли бы ты не возненавидеть их? Я хотела мстить. — «Это дурно». — Брось свою мораль. Мало ли что дурно, но когда человек не может подавить в себе желание мстить? Не всем быть овечками, как ты. Если бы мы жили в Италии, в старину, я наняла бы бандита; но у нас умеют только воровать. Как я могла отмстить им? — И вот, я взяла власть.

Целую тебя, моя овечка».

Да, через несколько месяцев, когда губернатор уж терял надежду, Наталья Петровна вдруг отвечала на его нежные речи: — «Чего вы добиваетесь от меня? Чтоб я была вашею любовницею? — Нет. Если б я была девушка или вдова, женились ли бы вы на мне?»

Он стал уверять.

— Лжете. Или — можете доказать противное.

— Чем?

— Вы должны отделать для меня половину в вашей квартире. Я не могу носить вашу фамилию; — но я хочу быть губернаторшею. Если вы согласны на это, — я очень рада.

Город удивлялся, для кого губернатор стал отделывать будуар и другие такие комнаты, будто собирается жениться. На ком же? Не на ком. А между тем, ехали из Петербурга мебель, обои, — явились, наконец, три горничные, — обратились к ним: «Кому служить вы наняты?» — «Ничего нам не сказано». — Тогда догадались, что губернатор, ездив за полгода перед тем в Петербург, сошелся там с одною француженкою, — сообразили и имя француженки; очень скандализировались этим, целую неделю, — а через неделю ахнули: губернатор пригласил к себе обедать человек тридцать гостей; гости собрались; сидели, говорили. Пробило 4 часа. Подъехала карета; растворились двери, в зал вошла Наталья Петровна, сняла перчатки, положила веер и шляпу на маленький стол у зеркала, — обернулась к прислуге и сказала: «подавайте кушать», — потом к гостям: «милости прошу, господа», — подала руку

ближайшему из почетнейших гостей, — все пошли за ними в столовую, не веря своим глазам и ушам.

Через месяц председатель гражданской палаты объявил Ивану Андреевичу, что просит его подать в отставку, потому что иначе губернатор даст предложение о предании его суду за взятки.

Через неделю он и его мать удалились в деревню, в которую не хотели отпустить Наталью Петровну.

ЧИНГИЗХАН

**(Из воспоминаний Н. Г. Маврикиева)**

Я видел этого почтенного старика только однажды. Он рассказывал множество анекдотов и длиннейшую историю громадного поместья, одним из опекунов которого был; как и всякая история, история поместья была история не самого поместья, а его обладателей. Перескажу из нее один эпизод.

Господин, владевший поместьем в начале нынешнего века, был создателем громадного богатства своей фамилии, сам вышел из ничего, но под старость уже совершенно забыл, что был когда-то не более, как человеком, а не богом.

Страшные примеры его самовластия не буду рассказывать: в них нет ничего особенного. Но вот выходка, очень оригинальная.[[4]](#endnote-3)

Среди земель этого божества лежало небольшое село, имевшее дворов восемьдесят или девяносто и до трех <сот> ревижских душ. Прежние помещик и помещица имели только одного сына, отправили его почти ребенком на службу в гвардию и лет через десять — двенадцать умерли. Молодой человек, занятый своею службою, не приехал вступить во владение. Мужики, подумав об этом обстоятельстве, рассудили написать ему такое письмо: видно, что тебе, барин, нет времени отлучаться от службы, и ты не будешь жить в своем поместье. А за глазами хозяина какое хозяйство? Приказчик будет тебя обворовывать. Так не согласишься ли перевести нас на оброк с барщины? — Это будет тебе выгоднее, да и нам легче. — Они предлагали хороший оброк. Барин был очень рад, согласился. Они высылали ему оброк исправно, и шел год за год, прошло так лет сорок. Помещик стал чувствовать, что пора старым ко-

стям на покой, и вышел в отставку, и поехал в свою деревню.

Барской усадьбы давно уж не было: она много лет разваливалась понемногу, потом мужики написали помещику: развалится она совсем, продай ее нам, покуда не вышли из нее одни гнилушки, — он продал, они разобрали лес на поправку своих изб. Таким образом, возвратившийся помещик взъехал на двор к старосте. Его приняли с большим почетом, но он устал с дороги и поспешил отпустить подданных, собравшихся на поклон: «благодарю вас, а вы меня извините: дело мое немолодое, надо отдохнуть». — Отпустил и лег отдохнуть. Разбудили его к обеду, — пообедал, — соснул опять, потом пошел по селу, толковал с мужиками; вечером несколько мужиков сидели у него в Старостиной избе, тоже толковали.

Проснулся поутру, — староста говорит: давно вас ждем, когда проснетесь. У нас был сход ныне, по случаю вашего приезда, и мир желал поговорить с вами. — Хорошо. — Вошли несколько стариков, уполномоченные от мира, и сказали так:

— Не прими, сударь милостивый, за обиду себе того, что мы тебе станем говорить. Ты был нами доволен, и мы тобою очень довольны. Но по твоим вчерашним разговорам мы увидели, что ты приехал не погостить у нас, а совсем. Теперь рассуди ты вот что: по твоей милости, сколько лет мы жили, не видавши тебя, не имевши между собою помещика? Мы сделали привычку к этой воле. Просит тебя весь мир: не строй ты себе усадьбу, не переселяйся ты жить к нам, оставь нам нашу волю. Приехал ты теперь — и гости ты у нас хоть неделю, хотя две, а дольше не гости. Ежели опять когда вздумаешь приехать погостить не надолго — милости просим; а жить с нами не живи.

Помещик был изумлен. Сначала подумал, что они подозревают его, что не понравилось им что-нибудь в нем, — нет, они сказали, что видят в нем хорошего и простого человека и верят его вчерашним разговорам, что он не хочет возобновить барщины, что и резоны его на это такие, которым нельзя не верить: что ему за охота, да и уменья нет у него, заводить запашку свою, проживши век до старости в Петербурге, и что ему хочется отдохнуть, а не суету принимать. Мы верим, говорили они, что ты хочешь оставить все по-прежнему;

но только не может остаться по-прежнему, если ты будешь жить между нами; потому не живи.

Помещик спорил; доказывал, что они ошибаются, что он не будет вреден для их порядков, потому что не будет ни во что вмешиваться. — «Ты не будешь мешаться в наши дела, так тебя будут мешать в них. Всякий в своей ссоре пойдет к тебе, чтобы ты разобрал по-своему, если мир не так разобрал, как ему хотелось. И не хочешь, да будешь мешаться», — отвечали мужики.

Помещик не соглашался, что это уж непременно так выйдет: «Кто ж может замешать меня в ваши дела, когда я не хочу? Не дело вы говорите; а видно, что я чем-нибудь не понравился вам».

— Чем же ты нам не угодил? Всем ты угодил нам, и ты нам люб, когда не станешь жить с нами; а хочешь с нами жить, так не люб.

Мужики предлагали помещику увеличить оброк, только уехать от них. Но помещик не подавался, и ему стало обидно это: «Когда не живешь с нами, то люб; а хочешь жить с нами, то не люб ты нам».

С тем словом и разошлись: «не живешь, то люб; хочешь жить, то не люб».

Что делать помещику? Думал, думал он: обидно, обидно.

И поехал к Баташову.

Баташов, по обычаю богов, был милостив и обходителен с людьми, приходившими на поклонение.

— Что ты ко мне? И кто такой? — спросил он нового соседа, подходившего к нему. Он сидел на крыльце и грелся на солнышке.

Сосед объяснил, что вот именно <он> и есть его сосед, служивший в Петербурге, — вышел в отставку и приехал жить в свою деревню, и явился засвидетельствовать свое почтение Баташову и принести ему свою просьбу.

— Милости просим в наши края. Мы рады хорошим людям. А какая твоя просьба?

— Вот какая. Мужики мои обижают меня, не хотят, чтобы я жил в своей деревне у них; говорят, не люб я им.

— Надо наказать их, разбойников. Как помещика не почитать?

— С тем я и приехал к вам. Где мне ладить с ними? Возьмите вы их за себя.

— Правда твоя. Так ты хочешь продать мне свою деревню?

— Точно так. Прошу: купите.

— Коли просишь, то почему ж не исполнить? Покупаю. Сколько у тебя душ? Сколько тебе надо за них?

Помещик сказал, сколько душ. — «А цену не смею назначать вам; сами определите; кроме вас, продать некому; кто может купить мимо вашей воли?»

— Умно рассуждаешь. Обижен не будешь от меня. Даю тебе за них...

Баташов назначил хорошую цену. Сосед поблагодарил.

— Ну, теперь ты молчи об этом деле. И вы молчать! — обратился Баташов к своим опричникам. — А мешкать нечего. Пообедаешь ты у меня, да и ступай в губернию с моим поверенным, совершать крепость. Совершишь, назад приезжай ко мне.

Сосед и поверенный съездили в губернский город, возвратились. Все было в секрете. На другой день, рано поутру, Баташов взял с собою соседа и поехал с своею свитою в купленное село. Там ничего не знали.

Приехали. Собрали сход.

— Знаете, зачем я приехал к вам? — начал Баташов.

— Не знаем, батюшка. Скажи, будем знать.

— Купил я вас. Вы своему прежнему помещику сказали, что он не люб вам, — ну, а мне вы не любы. — Гей!

По этому сигналу, двинулись из-за пригорка в деревню телеги и телеги, сотни телег.

— Клади все на возы! — скомандовал Баташов.

Бесчисленная его свита бросилась по избам; стала выносить все мужицкие пожитки и укладывать на телеги.

Уложили всё.

— Все вынесли, уложили?

— Все.

— Становись каждая семья у своих пожитков, — сказал Баташов.

Стали.

— Обкладывай соломой избы.

Опричники в пять минут натаскали горы соломы к избам по концам деревни.

— Зажигай.

Зажгли.

— Вот как я с теми, кто мне не люб, — обратился Баташов к своим новым подданным, — больше не будет вам наказания. Прощаю. Ступай, развози их, как сказано.

Опричники разделились на отряды и поехали с телегами и новыми подданными своего господина на все четыре стороны, развозить их по его чуть не бесчисленным деревням. Каждая семья была отвезена в особую деревню. Там было дано ей новое обзаведение.

Избы, хлеб, скот — все было сожжено в уничтожаемом селе.

Когда пожар стал догорать, Баташов с прежним помещиком поехал в свою резиденцию. Там уже были исправник и чиновники из уездного города по его призыву. Поздравили его с покупкою, прежнего помещика с продажею. Пировали. Баташов велел им остаться ночевать: «завтра допируем».

Поутру поехали на охоту. Когда время стало подходить к обеду, Баташов сказал: — «Пообедаем в поле; у меня приготовлено место», — и поехал на то место, где вчера было село.

Все пожарище было уже очищено, сровнено, — никаких признаков вчерашнего, — обращено в гладкое, чистое поле и покрыто дерном. Посредине нового поля была разбита большая палатка, и Баташов с гостями пообедал в ней.

ИСТОРИЯ ЕЛИЗАРА ФЕДОТЫЧА

(Рассказ Р. А. Т.)

Я с месяц жил в своем родном городе, — иные знакомые и родные постарели, как следует постареть в пятнадцать лет, другие — ни на волос, какими оставил я их тогда, так и сохранились в тех самых летах.

— Пришла какая-то женщина; говорит, ваша родственница.

Этому не мудрено быть и правдою. Чем другим, а дальнею роднею всякий богат. «Попросите сюда ко мне».

— Здравствуйте, матушка; садитесь, будьте гостьею. Как мы с вами родственники, скажите. А прежде всего, прошу покорно, — я подал ей стакан чаю.

Вошедшая была одета очень бедно, — даже и для бедной мещанки бедно; уже не молода; лицо изнуренное, сообразно костюму; не глупое.

— Благодарю (она назвала меня по имени). Я жена Елизара Федотыча, если помните.

— Как не помнить, помилуйте! Очень рад. Жив ли он и здоров ли? А ваше имя и отчество, позвольте узнать?

— Жив и здоров. А меня зовут Анною Степановною.

— Если жив и здоров он, Анна Степановна, то слава богу. Но что же такое, бедненько одеты вы, — извините, я говорю, как вижу.

— Да житье наше горькое. А это точно, что не следовало бы нам с ним терпеть такую нужду. Он человек умный, и могли бы мы жить не хуже людей; и жили. Да я сама виновата.

Да, она неглупая женщина: поняла, что я не ожидал увидеть жену Елизара Федотыча нищею.

Впрочем, не заключайте из этого, что я в старину знал Елизара Федотыча человеком зажиточного состояния или хоть зарабатывающим себе безбедный кусок хлеба. Нет, он был сирота, почти бесприютный; родные кормили и одевали его, но присмотреть за ним было некому, он был мальчик очень бойкий и замотался, можно сказать, с детства: лет в четырнадцать — он уже не новичком в кабаках, и сильно плутовал; такое раннее развитие не редкость между мещанами города Симбирска, — да и других городов тоже. Скоро он совершенно отвалился от родных, — маленьких купцов, зажиточных и бедных мещан. Года два не было о нем слуха: знали только, что он пошел в «азы». Азáми на мещанском языке назывались тогда отчаяннейшие плуты ябедничества. Елизар Федотыч был мальчишкой определен в писцы в магистрат и лет в пятнадцать уже порядочно знал дела. Но принуждены были выгнать его за пьянство и плутовство. — Года через два после того как его выгнали, родные стали вновь слышать о нем: «азы» составили компанию, существованию и успехам которой не поверят люди, не знающие нашей жизни. Это общество плутов устроило где-то в Кострыжной или Цыганской улице Казенную палату, — это было лет за пять до учреждения палат государственных имуществ, и казенные крестьяне находились под ведомством казенных палат.

— Позвольте, — перервал я рассказчика, — как же я напишу «Симбирск», — в Симбирской губернии удельные крестьяне, а не казенные.

— Именно поэтому я вам и говорю: пишите Симбирск.

— Так я напишу: «удельная контора».

— Пишите Казенная палата, как я сказал. Казенная палата, а не удельная контора.

— Так не Симбирск.

— А вы слушайте да записывайте, а не спорьте.

— Продолжайте.

— Азы устроили Казенную палату, Губернское правление, Рекрутское присутствие, — все, до чего есть дела у мужиков. Ходили по постоялым дворам, высматривая мужиков, приезжавших в Симбирск по делам, приводили их в свое логовище, — там был и стол с красным сукном, и на столе зерцало, — и удовлетворяли все желания просителей. Главным источником доходов были рекрутские дела. Азы выдавали свидетельства, что парень не годится в солдаты. Поверите ли, что это продолжалось, быть может, целый год.

— Но ведь освобожденного ими рекрута требовали в настоящее рекрутское присутствие, и плутня обнаруживалась?

— Само собою. Но не могли отыскать, где это азовское присутствие. Азы водили к себе мужиков пьяных, или ночью, или обобранные мужики не могли потом отыскать улицу и дом.

— Не может быть!

— Не может, так не может, и пусть не может. А я вам говорю, что это длилось более полугода, Но как ни укрывали азов их приятели, а все-таки нельзя ж было укрыть их слишком долго. Присутствие было найдено, присутствующие азы отведены в острог, и в числе их Елизар Федотыч. Когда я уехал в Петербург, дело еще тянулось.

Он был не очень близкий родственник нам и рос не в нашем доме. Он был не ровесник мне, — годами восемью старше. Поэтому я не был хорошо знаком с ним, и когда мои родные отступились от него, и я перестал интересоваться им. Возвратившись, я и не любопытствовал спросить, чем развязалось его дело, где и что он; думал, что он давным-давно сослан. А вот он оказывается жив и здоров и женат в Симбирске. Это не диво.

Женат — стало быть, остепенился. А если остепенился, бросил слишком сильное пьянство и слишком отчаянную ябеду, то не должен бы жить в такой нужде: он делец и очень даровитый человек.

— Да, — начала свой ответ мне его жена, — не следовало бы нам с ним терпеть нужду; да я сама виновата, — и стала рассказывать, как она виновата. Трудно было бы угадать, как.

— Вам известно, что Елизар Федотыч вел в молодости очень нетрезвую жизнь. Год от году хуже да хуже, и унизил себя до того, что стал говорить мне: хочешь, я на тебе женюсь, Анютка?

Анна Степановна с робостью посмотрела, как я принял эти ее слова. Видали вы такие взгляды, сударь? — К ним готовятся, не замечая, что готовятся. Сидит с опущенными глазами, произнесет решительные, объясняющие слова несколько не так легко, как другие, — как будто они на иностранном языке, на котором выговор затруднительный, — и поднимет глаза, и опять опустит. Я до сих пор несколько конфужусь от этих смиренных, безмолвных молений «простите» —да у меня- то на каком же основании вы просите прощения? Поэтому я нашел вопрос:

— Это было уж после моего отъезда, должно быть; по окончании филипповского дела, Анна Степановна? — Разумеется, нечего было спрашивать: когда я уехал, он не был женат. Филипповским делом в городе называли это дело об азовском присутствии: коновод азов был Филиппов.

— Да-с; позвольте мне сказать вам, кто такая была я. — Она выразилась словом, которое прямо обозначало ее тогдашнее занятие, но уж не поднимала глаз: видно, что я хорошо выдержал первый ее взгляд; да и название «Анна Степановна» ясно для нас обоих выражало, что я, Анна Степановна, вижу, какая вы теперь, а мало ли что могло быть со всяким из нас? — Поэтому-то, она была теперь успокоена.

— И хоть с моей стороны это было не совсем хорошо, но опять же он был почти что такой же потерянный человек, как я. Или, может быть, у меня и точно была твердая надежда на свое и на его исправление, или больше это было в чаду в этом, сама не понимала, что делала: пьешь, пьешь, и рассудок теряешь, как когда и в трезвом виде бываешь, то он в тумане остается, — или

это по наглости, какую имеют в этом состоянии, то есть по честолюбию, чтобы говорить: я мужняя жена, — уж и не умею сказать вам, чего тут больше было, но только я ухватилась за слова, сказанные им с пьяных глаз, и стала вести его к тому, чтоб он женился на мне. Мудрено ли окрутить такого потерянного в безумии и в развратнейшем пьянстве человека? У него не бывает уж никакой своей воли, — как теленок, или баран. Такими судьбами я таки взяла да взяла его в руки, да и обвенчала с собою, — все пьяного. А у меня-то ум еще не был пропит. Я рассуждала так: он умный человек, только страдает своею слабостью, потому что находится в обществе дурных людей. А если его взять под хороший надзор, он образумится и тогда может жить без нужды, потому что пишет бумаги очень хорошо. Сколько хлопот стоило мне достичь этого, сами можете судить; но, благодаря бога, успела я достичь своей цели. Корень всего зла его состоял в пьянстве, как обыкновенно у таких людей, которые не имеют твердости в характере; и с этим злом бороться очень трудно. Сколько усердия приложила я к этому, могу сказать без похвальбы: достойно удивления. Главное мое средство состояло в том, чтобы вдоволь было ему вина дома; и притом, конечно, стараться захватывать его по всякому делу при самом получении денег. Сама поила его; говорю: видишь, нет тебе ни отказа, ни недостатка в вине; что в трактир идти? Пей дома; спокойнее, Елизар Федотыч. Вот, стал он понемногу привыкать к этому. А когда это начало было положено, то и стал он приходить в порядок. Сначала и дома тоже пил мертвецки. Но деньги стали заводиться. Какие еще деньги? — Но, по крайней мере, не терпел холода и голода, как прежде случалось очень часто. Потом, знаете, когда я могла и обшить его как человека, стала я его стыдить и пробуждать в нем честолюбие: пей, говорю, кто тебе мешает? Но так, чтобы не стремиться перед людьми; когда пьян, то и лежи, спи. И потом же, я говорю, сам ты знаешь, Елизар Федотыч, что в пьяном виде недолго и в петлю шеею угодить: не можешь рассуждать, какое дело можно делать, какого нельзя. Говорила ему все об этом примере, который он испытал, что сидел больше года в остроге по филипповскому делу, и едва тогда мог спастись от Сибири; и много других опасных случаев было. Я и урезонивала его этим. И он, будучи умным челове-

ком, сам чувствовал это очень хорошо; только вовлекать его было кому, удерживать его было некому. А с моею поддержкою стал он таких дел избегать: ни фальшивых паспортов не стал выдавать, ни чего такого. И мало-помалу довела я его до того, что он проводил весь день в трезвом виде, ждал вечера, чтобы пить. Тогда, батюшка, мне даже удалось определить его опять в магистрат: взяли прямо на пять целковых жалованья. И с тех пор пошло: лучше, да лучше, и наконец, получил он до 20 целковых жалованья. Кроме того, дохода столько же. Вот как было хорошо! Сделала его человеком, и жили в достатке, и стала я даже откладывать деньги.

И таким образом прошло восемь лет. Пить он пил: очень редкий вечер ложился не выпивши очень сильно; но без всякого гулянья; или один, или тоже с такими людьми, которые ведут себя прилично. И больше один; поэтому тихо: выпьет себе да и валится спать. А до вечеру — совершенно как следует быть человеку.

Господи милостивый, и то слава богу!

Видя теперь его в таком положении, стала я собираться на то, о чем у меня давно была мысль.

Грешная моя была жизнь; что может быть грешнее? И это меня мучило очень много. Больше всего находила я себе утешение в этой моей мысли: не смела дать обещания, потому что обет богу дать — великое дело, но давно положила у себя на уме: когда исправление его будет сделано, по божиему милосердию ко мне грешной, то схожу в Киев.

И вот, батюшка мой, на восьмой год моего исправления от грешной моей жизни, понадеялась я на его постоянство, и пошла в Киев.

Ох, беды, беды! Проходила я больше четырех месяцев, — более полуторы <тысячи> верст от нас до Киева, сами знаете, — там долго пробыла, все покаянию предавалась, — пришла домой через четыре месяца: ничего-то в доме нет, все пропито; и деньги, мною собранные, пропиты, — их было уж до двух тысяч рублей (ассигнациями), — и мой Елизар Федотыч опять в прежнем виде, кабацкий житель, с азами подружился, все спустил, и из службы выгнали его: все мои труды пропали, — и вот, по моему виду могли вы заключить и заключили, как с тех пор идет моя горестная жизнь.

Четвертый год так маюсь. Он редкий месяц не сидит в части половину месяца за свои азовские гибельные

дела; по-родственному, нечего таить от вас: все опять пишет, и фальшивые паспорты выдает, и все, — и таскают по частям; другую половину своего времени по трактирам гуляет с азами. Бедная ты моя головушка! И потеряла я надежду опять его исправить. Истинно господь сказал: выгонишь ты беса из человека, и если человек снова откроет ему храмину души своей, то не возвратится бес один, а как наученный опытом приведет с собою помощников, семь бесов крепчайших паче себя, и будут последняя горша первых.

Я стал утешать Анну Степановну надеждою на новое исправление мужа. Она старалась ободриться, но сомнительно говорила: «нет, батюшка мой: и мои силы ослабели, и его лета старше: больше закоснелости».

С тех пор я не был в Симбирске, — пока жил там, — еще месяца два, — виделся довольно часто с Анною Степановною, видел и ее мужа; он говорил со мною, держась рукой за пуговицу сюртука, — это поза великого уважения и смущения и полного согласия с вашими убеждениями. Но, говорю я, с тех пор я не был в Симбирске; иногда вспоминаю об Анне Степановне, думаю: каково-то идет второй ее тяжкий труд? Неужели без всякого успеха? — По всей вероятности.

ВИДЕЛИ ЛЬ ВЫ?

Эта дама останется без фамилии; она — лицо вымышленное и невозможное. Поэтому как же было б и давать фамилию ей? — Мечта, а не человек; мечтам не нужно фамилий.

Я видел ее только один раз. Не судите обо мне по моим рассказам. Я человек фарисейской строгости в манере держать себя. Поэтому я одну минуту, не больше, посмотрел на госпожу без фамилии и сел в другой угол комнаты, к которому сидела она спиною, — я для большей безопасности моих нравов и моей репутации тоже сел спиною к тому углу, где она сидела, — и занялся разговором с мужем этой дамы. Его я видел и прежде раза два.

Мы сидели у человека бессемейного. Только этим и объясняется то, что я мог увидеть даму, на которую не захотел смотреть. Ее уже давно не принимали ни в од-

ном семейном доме. Да и невозможно было принимать. Дама, виденная мною, [так] пренебрегала всякими приличиями, что не было никакой несправедливости нисколько не отделять ее от женщин, торгующих собою. Однако, она не торговала собою.

Между прочим, я полагаю, и потому, что не нуждалась в деньгах. Они не были богачами, но имели очень порядочное состояние. Другая причина ее бескорыстия была та, что она имела своими приятелями трактирных героев, которые сами рвут деньги из рук, готовы сорвать брошку с женщины, — и я думаю, срывали с нее не раз.

По всему этому вы видите, что я не заслуживаю имени фарисея за то, что отошел в другой угол. Неприлично, и что еще важнее, неприятно.

Вы ждете, что я готовлюсь этим рассказывать историю, оправдывающую ее; вы не ошибаетесь. Но не думайте, что рассказ потерял теперь интерес неизвестности. Ее оправдание очень оригинально.

Между прочим и потому, что она не сумела бы сама представить его; она не знала, чем она оправдывается. Она едва ли даже знала и то, что могла бы знать; а самого главного она никак не могла знать.

Начну ее оправдание описанием ее лица. Я не поверил бы, что у ней такое лицо, если бы не увидел своими глазами; советую и вам не верить справедливости моего описания, пока не увидите.

Развратница. — да, она была развратница. Может ли разврат не иметь выражения в лице? — Не может. Взгляд становится нагл, по крайней <мере>, дерзок, — или хоть кокетлив, — или хоть лицемерен, — так ли?

А я увидел молодую даму с очень скромным, совершенно обыкновенным выражением лица.

Развратница, — но если так, она имеет же в себе что-нибудь особенное, — какой-нибудь недостаток характера или хоть страстность темперамента; должно же быть что-нибудь, склонившее ее к разврату. — Ничего такого нет в ее лице; лицо довольно живое, не мрачное, но нет в нем даже и страстности, не только порочного выражения.

Развратница, — но разврат очень быстро уничтожает свежесть лица. Не долго выдерживает его и организм, а гораздо раньше поблеклости от ослабления сил яв-

ляется отпечаток нравственного перегара. Порок невозможен без борьбы с множеством неприятных мыслей. Это своего рода философия, — знание зла, — и серьезных огорчений или одуряющего увлечения. Что-нибудь серьезное, что-нибудь важное, во всяком случае.

Ничего не бывало. Этой даме было лет 27 или больше — ее лицо сохраняло 18-летнюю свежесть; такая свежесть не может сохраниться на лице человека, познавшего добро или зло, она сохраняется только, пока сохраняется спокойная веселость, тихая беззаботность о себе.

Я смотрел на это лицо только одну минуту: оно было так простодушно, что не стоило долго всматриваться в него. Все, что написано на нем, написано так ясно, что прочлось с первого взгляда: «ничего любопытного не было с этою женщиною; ни о чем не думала она, ничего не испытала».

Надпись очень обыкновенная; но как же она осталась на лице развратницы?

Я слышал об этой женщине кое-что и кроме скандальных ее приключений; слышал очень мало, — но, взглянув теперь на ее лицо, сказал себе: «то, что я знаю о ней, совершенная правда, как я теперь вижу, и мне нет надобности ни всматриваться в нее, ни говорить с нею, чтобы начать говорить всем и каждому, кто будет порицать ее: пустяки, не говорите о ней ничего дурного».

Я скажу вам, что слышал о ней и чего было совершенно достаточно для меня, когда я взглянул на ее лицо, чтобы увидеть: какая ж она виноватая? Ничего не бывало!

Вот что я слышал о ней: семейство, в котором она выросла, не было очень умно; образование, которое она получила, было пусто; она вышла замуж без любви; человек, за которого она вышла, был очень глуп; она была неразвита и осталась неразвита. Она недурна собою, — подвернулся волокита, — начались поцелуи, — потом свиданья. Часто это сходит с рук благополучно, — они — она и ее возлюбленный — как-то попались; вышел скандал; от нее отвернулись все, кроме дрянных женщин и волокит; человеку скучно без общества; и она живет в этом обществе.

Поэтому я сказал себе: «умны, нашли кого осуждать!» — и сел в другой угол.

«Но правила благородства» — да откуда они были бы в ней. — «Но надобно же было ей рассуждать о последствиях» — как это хорошо, рассуждать о каких-то последствиях, когда не умеешь рассуждать ни о чем. — «Но должен же быть ум в человеке» — должен; но мало ли чего нет такого, чему бы должно быть? — «Но должна быть воля» — и это хорошо. Итак, вы полагаете, что хорошо было бы ей быть женщиною умною и твердого характера? — и я полагаю, что хорошо бы.

Я также полагаю, что недурно было бы вам иметь миллион дохода, — имеете вы?

И осуждают!

1. Не опечатка? [↑](#endnote-ref-1)
2. моя дорогая (франц.). [↑](#footnote-ref-1)
3. Грязь при печати или ударение? [↑](#endnote-ref-2)
4. Опечатка (было: оргинальная; исправлено). [↑](#endnote-ref-3)